ВЛАДИМИР
ПОЗНЕР
СУБЪЕКТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД
Немецкая тетрадь
Испанская тетрадь
Английская тетрадь

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга объединяет три работы Владимира Познера: Немецкую, Испанскую и Английскую тетради. Каждая из них – результат размышлений автора о стране, людях, с которыми ему довелось встретиться, о прошлом и будущем и о том, что связывает эти страны с Россией. Герои этой книги – немцы, испанцы, англичане. Именно их стремится понять Владимир Познер. Книга иллюстрирована фотографиями автора, и за каждой прячется уникальная история, маленькая, но выразительная.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

- Владимир Познер
  -
  - Немецкая тетрадь
    - Введение
    - «Германская головоломка»
    - Татьяна Нидель
    - «17 июня 1953»
    - Сейгем Айгюн
    - Ханс Шеффер
    - Октоберфест
    - Крысолов
    - Макс Маннхаймер
    - Одноклассники
    - Памятник
    - Эрнст-Йорг фон Штудниц
    - Роланд Ян
    - Тило Саррацин
    - Лея Рош
    - Дитер Грауманн
    - Бернхард Шлинк
    - Стена
    - Никлас Франк
    - Фитце
    - Йорг Метке
    - Бригитте Циприс
    - Ханс Бьерке
  - Испанская тетрадь
    -
    - Введение
    - Алекс де ла Иглесиа
    - Сусана Гарсиа

- Педро Гарсиа Бильбао
- Ахмед Бермехо
- Абдул-Алим Молинеро Гарсия
- Хамон
- Роджер Альбиньяна
- «Ла Педрера»
- Кастельеры
- Фламенко
- Алькасар
- Хайме Алонсо
- Блас Пиньяр Гутьеррес
- Карлос Осоро Сьерра
- Мариан Беитиаларрангоитиа
- Иньяки Перурена
- Луис дель Ольмо
- Каэтано Ривера Ордоньес
- Курро Камачо, директор школы тореро «Амате»
- Серхио Карамбано Хименес
- Сесар Паламос
- Энрике Гонсалес Мачо
- Пилар Эйре
- Педро Рамирес
- Джозеф Ахрам
- Ориол Хункерас

○ Английская тетрадь

-
- Введение
- Nota bene
- Блэк кэб
- Энтони Хайзер[27]
- Артур Эдвардс
- Маргарет Тайлор
- Кеннет Уорф
- Паб
- Питер Хейдон
- Трейси
- Кейт Фокс
- Чай
- Джейн Петтигрю
- Уильям Маннинг
- Жозе Моуриньо
- Ворон
- Фил Уилсон
- Аристократия

        - Король Карл I
        - Лорд Падди Клануильям
        - Лорд Марк Полтимор
        - Стифен Фрай
        - Джереми Паксман
        - Иммиграция
        - Чарльз Бейли
        - Сэр Эндрю Грин
        - Джонатан Димблби
        - Стивен Гарнетт
        - Сэр Родрик Брейтвейт
        - Британское вторжение
        - Битлз
        - Джон Сноу
        - Энди Чижевски
        - Элизабет Эманюэл
        - Великая хартия вольностей
        - Айвор Робертс
        - Джудит Керр
        - Деклан Доннеллан
        - Сева Новгородцев
        - Послесловие
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

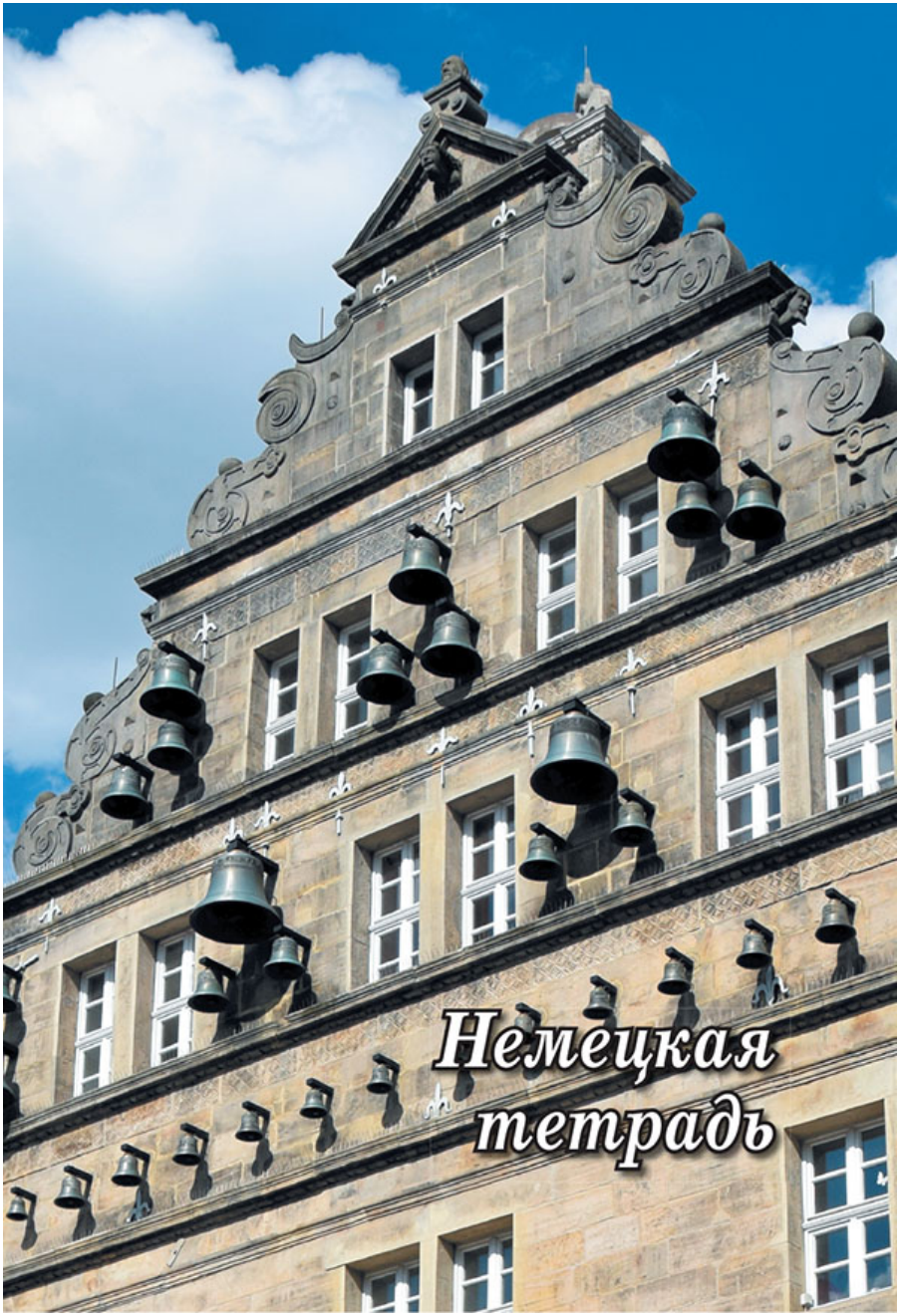
Владимир Познер
Субъективный взгляд
Немецкая тетрадь
Испанская тетрадь
Английская тетрадь

Дизайн обложки Дмитрия Агапонова
Фото на обложке Юлии Ромашиной
Фотоматериалы предоставлены Владимиром Познером, фотоагентством Getty Images и фотоагентством EAST NEWS Russia

© В. Познер, 2023
© ООО Издательство АСТ, 2023

* * *

Немецкая тетрадь



Введение

Тот, кто пишет, знает, что такое «не пишется». Когда сидишь, уставившись в пустой лист бумаги – или электронный, – и не выходит ничего. Тоска. Пытаешься выдавить из себя хоть какие-то слова, сложить их в более или менее приемлемый порядок, чтобы преодолеть чувство бессилия, но ничего не выдавливается или выдавливается такое, на что невозможно смотреть без отвращения.

Книжки, которые я написал вслед за документальными фильмами «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс» и «Их Италия», писались необыкновенно легко, на одном дыхании. А потом все остановилось. Резко. Как будто в стремительно мчавшейся машине водитель ударил по тормозам. Только не было ни скрипа, ни скрежета, напротив, была полная тишина. Все встало. Последовали фильмы «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности», «Еврейское счастье», «В поисках Дон Кихота», фильмы, в которые были вложены переживания, порой даже страдания, размышления, и мне казалось, что все это обязательно выплеснется в книги. Но…

Не писалось. Никак. Сколько раз садился к столу, столько раз я выходил из-за стола, не написав ни одного слова. Бывало, вдруг вдохновение, и вместе с ним возникало ощущение, что вот, наконец-то, все вернулось, сейчас ка-а-к сяду, к-а-ак напишу! Звонил моему редактору Евгении Лариной с радостными новостями: ожидайте, скоро все будет. Но как только я садился за письменный стол, то с огромным трудом выдавливал из себя одну, максимум две страницы, и на этом все заканчивалось. И я принял решение больше не думать об этом, забыть. И стало легче. Никого больше не обманывал обещаниями вот-вот написать, но главное, перестал обманывать себя.

Правда, иногда тихий внутренний голосок противно ныл, стыдил меня, но безуспешно. «Все, – думал я с облегчением, – все, больше никаких книг не будет».

Совсем недавно я сидел у компьютера и смотрел фотографии. Их у меня великое множество, поскольку я страстный фотограф-любитель, и когда я отправляюсь на съемки фильма, то всегда беру с собой две, а то и три камеры. И снимаю. Портреты тех, у кого беру интервью, разные виды, разные городские уголки. И вот я листал папку с названием «Германская головоломка», смотрел на эти лица и пейзажи, снятые мною несколько лет тому назад, вспоминал все это… и вдруг подумал, что можно было написать книжку о том, какие эти фотографии навевают мысли… Нет, не

точно, не подумал, а захотелось написать такую книжку.

Вот что получилось.

«Германская головоломка»

Я этот фильм снимать не хотел. Потому что боялся. Это просто сказать и куда как сложнее объяснить. Есть страх понятный, в разъяснениях не нуждающийся. Например, я боюсь акул. Боюсь – и все тут. Это разве надо объяснять? А боязнь делать фильм о Германии…

Я с самого детства ненавидел немцев. Это чувство внушил мне мой отец во время Второй мировой войны. Я войну помню: как в Париже меня сажал на плечи мой дядя Роже, чтобы спуститься в бомбоубежище во время налетов; как парадным шагом шли по Елисейским Полям немецкие войска и как, глядя на них, плакали французы, стоявшие вдоль тротуара; как наша семья по подложным документам сумела попасть в «Свободную зону» Франции, в Марсель, и оттуда через Испанию и Португалию, прихватив с собой мою «няню», девятнадцатилетнюю еврейку (ее родители дали моему отцу необходимую сумму денег, чтобы подкупить гестапо и получить выездные документы, при условии, что мы возьмем их дочь с собой). И еще я помню детство в Нью-Йорке и рассказы о немецких зверствах, которые потом получили реальное подтверждение, когда папа показал мне документальные ленты, снятые немцами в концлагерях – снятые тщательно и подробно, с известной всему миру немецкой аккуратностью. И помню еще о том, как папа рассказал мне, что его ближайшего друга, Вову Бараша, немцы отправили в Аушвиц в газовую камеру, а его собственного отца, моего дедушку, которого я так и не увидел никогда, кроме как на фотографии – стоит такой исключительно модно, даже чуть франтовато одетый мужчина, от которого веет тонким запахом туалетной воды – немцы расстреляли лишь за то, что его фамилия была Познер. Все это и множество других вещей сформировало мое отношение к немцам – не только к Гитлеру с компанией, не только к нацистам, ко всем до самого последнего.

Когда мне было неполных пятнадцать лет, мой отец, горячий сторонник СССР, коммунист по убеждениям, хотя и не член партии, потерял свою высокооплачиваемую работу в американской кинокомпании MGM, потерял из-за того, что не захотел сдать свой советский паспорт в обмен на американский; когда он попал в черные списки и лишился источника заработка; когда французские власти отказали ему в визе, таким образом практически закрыв не только ему, но моей маме, мне и брату возвращение во Францию; когда, наконец, советское правительство предложило ему работу в берлинском отделении

«Совэкспортфильма», мы уехали в Восточную Германию, то есть именно в ту страну, которую я ненавидел и куда ни за что ехать не хотел.

Невозможно передать разницу между ярким, полным обещаний, бесподобным Нью-Йорком и Берлином – полуразрушенным, серым, кисло пахнувшим запахом некачественного бурого угля, которым немцы топили свои жилища. В Нью-Йорке я чувствовал себя дома, это был мой город, я знал его как свои пять пальцев, я болел за королей бейсбола «Нью-Йорк Янкиз», я был абсолютно, несомненно, категорически стопроцентным нью-йоркским мальчиком, я был «своим». А в Берлине? В Берлине я был совершенно чужим: не мой город, не мои люди, и что вообще невыносимо, меня там принимали за немца, поскольку я ни слова не знал по-русски. Странное дело, я не помню, чтобы я тогда страдал, но, вспоминая сейчас прожитые там четыре года, я испытываю острое чувство жалости к тому американскому подростку, юность которого прошла в глубоко чуждой и ненавистной ему среде. Я знаю, что эти четыре года изменили меня – и физически, и психически. Я был 180 сантиметров роста, когда мы покинули Нью-Йорк. Попав в этот скудно снабжаемый Берлин, я перестал расти; думаю, я не добрал сантиметров 5–7 того, что предполагала природа. А из беззаботного, открытого, лишенного комплексов мальчика я превратился в… хамелеона, я чувствовал необходимость «менять краску», делаться похожим на других, чтобы меня не считали чужим, а принимали за своего. Как же это было мучительно трудно! Прошло не одно десятилетие, прежде чем я избавился от этого почти условного рефлекса, когда я перестал пытаться встраиваться, когда смог сказать себе – а значит, всем: нет, я не такой, как вы, не лучше и не хуже, но не такой, и мне совершенно все равно, как вы относитесь к этому, потому что для меня самое главное – это чувствовать себя хорошо в собственной шкуре.

Порой мне кажется, что Германия мне мстит за то, что я так не люблю ее. Бред? Конечно, но именно в Германию эмигрировала моя дочь, увезя с собой мою внучку Машу и невольно тем самым лишив меня возможности участвовать в ее воспитании. Там, в Германии, родился мой внук Коля, и именно эта страна пролегла между нами. Сколько бы я смог дать им, если бы они росли рядом!.. Что до моего правнука Валентина, которому сейчас три года, то я для него в какой-то мере мифологическая фигура, которая приобретает реальные очертания два-три раза в год, когда я приезжаю в Берлин на несколько дней или когда он с родителями приезжает в Москву на Рождество.

При чем тут Германия? Разве было бы иначе, если бы моя дочь уехала во Францию? Или в Америку, куда приезжать было бы еще труднее? Правильный вопрос, логичный, но не ждите от меня логики, потому что речь идет о чувствах, а чувства к логике отношения не имеют. Все, что я рассказал, – это попытка объяснить вам, читателям, почему я боялся делать фильм о Германии. Я опасался того, что мои личные счеты со страной «трех Б» – Баха, Бетховена и Брамса, но и «трех Г» – Гитлера, Геббельса и Геринга – не позволят мне быть объективным, что я не смогу справиться со своими пристрастиями.

Опасался не напрасно. Посмотрев фильм заново, я должен был признаться себе в том, что моя неприязнь к Германии и к немцам то и дело давала знать о себе. Я старался быть непредвзятым, “evenhanded”, как говорят американцы. Не получилось. И теперь, вспоминая ту поездку по фотографиям некоторых ее «героев», боюсь того, что это случится вновь, что опять не удержусь и из меня, как из разбуженного вулкана, вырвется кипящая лава нелюбви. Постараюсь удержать ее. Очень постараюсь. А что получится, то и получится.

И последнее: в том, как размещены эти фотографии и связанные с ними размышления, нет ни хронологии, ни связи. Хотя, может быть, какая-то связь есть – не совсем как, например, в пазле, потому что здесь каждое фото значимо само по себе (в отличие от кусочков головоломки), но и как в пазле потому, что все фото и связанные с ними размышления, собранные вместе, составляют, как мне кажется, единую картину.

Татьяна Нидель

Город Цербст – можно бы даже сказать городок – не имел бы значения ни для кого, за исключением разве живущих в нем граждан, если бы не два обстоятельства. Первое известно немногим, но достойно упоминания. В ночь с 14 на 15 апреля 1945 года, за две недели до капитуляции фашистской Германии, ВВС США разбомбили Цербст в пух и прах, а точнее, уничтожили его на восемьдесят процентов. В этом не было ни малейшей надобности. В Цербсте не было никакой военной промышленности, не было гарнизонов, не было солдат. Зачем бомбить? Как сказала мне одна дама, союзники торопились нанести как можно более тяжелый урон той части Германии, которой предстояло стать зоной советской оккупации, и Цербст просто попал под их общую «раздачу». Ни о каких таких намерениях союзников я не слышал и не склонен доверять подобным разговорам, но факт остается фактом: городок, не имевший никакого военно-стратегического значения, стерли с лица земли буквально накануне конца войны, и этому нет ни объяснения, ни оправдания.

Второе обстоятельство куда важней: первые пятнадцать лет своей жизни (не считая первых после своего рождения месяцев) провела здесь София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Она жила-поживала во дворце, пока совершенно неожиданно не была тайно вывезена в Россию по требованию императрицы Елизаветы Петровны, желавшей выдать ее за своего племянника, сына Анны Петровны, внука Петра I, Карла Петера Ульриха, которого за три года до этого привезли из немецкого Киля в Санкт-Петербург.

Несчастному Карлу Петеру предстояло стать императором Петром III Федоровичем. Несчастному, потому что его ждала жестокая смерть от рук участников дворцового переворота, организованного его супругой, той самой Софией Августой, ставшей по приезде в Россию Екатериной Алексеевной, а после заказанного ею убийства мужа императрицей Екатериной II.

Вот таким причудливым образом русская романовская кровь была обогащена (или разбавлена?) кровью немецкой.

Я часто задумывался над тем, сыграло ли это обстоятельство роль в судьбе России? Повлияла ли немецкая «прививка» и если повлияла, то как?

«Что русскому хорошо, то немцу смерть» – эти слова приписывают Александру Суворову, и если он и в самом деле автор этой истины, не удивительно, что Екатерина не слишком жаловала его. Если фельдмаршал был прав, то соединение этих двух кровей должно было привести либо к смерти, либо к рождению чего-то невиданного. И привело: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…»

Но я отвлекся.

Хоть и покинула Цербст будущая Екатерина Великая еще подростком и никогда туда не возвращалась, дух ее продолжает витать над городом. О ней напоминает полуразрушенный бомбежкой дворец, где проживала будущая русская императрица. Напоминает о нем и Татьяна Нидель.

Вглядитесь в эту фотографию. Это она, Татьяна Нидель. Харьковчанка, которая занималась германистикой и приехала в университет города Магдебурга, чтобы написать там и защитить диссертацию. Там, в Магдебурге, встретила Фредди Ниделя, вышла за него замуж и осталась жить в Цербсте.

При чем тут Екатерина II? – спросите вы. Чуть потерпите. Дело в том, что в Цербсте давно существует Общество Екатерины II. Возглавляла его преподаватель русского и немецкого языков Аннегрет Майнцер, женщина ничем не выдающаяся, живущая в такой же «хрущевке», какие сейчас стали в Москве сносить. Маленькая двухкомнатная квартира, маленькая кухонька, маленькая пятидесятилетняя женщина, говорящая по-русски с сильным акцентом, но почти без ошибок, родившаяся и прожившая всю жизнь в ГДР. Говорит тихим, спокойным голосом, смотрит в глаза, почти приятное лицо – почти, потому что чуть искривлен рот, может быть, поврежден тройничный нерв.

Была, как и все ее сверстницы, членом Союза свободной немецкой молодежи (гедеэровского эквивалента комсомола), свято верила в сказку о социализме, пока в один прекрасный день не сообщили, что сказка кончилась.

– Если бы из ГДР можно было ездить в разные страны, – говорит Аннегрет, – если бы режим был с человеческим лицом, меня это полностью устроило бы.

О Екатерине II и об истории России того периода знает все. Стала членом общества имени российской императрицы при его создании двадцать лет назад, через десять лет возглавила его, но совсем недавно уступила этот пост Татьяне Нидель – когда она говорит об этом, в голосе слышатся (или так мне кажется) нотки сожаления.

Под впечатлением встречи с Аннегрет Майнцер я полагал, что новый председатель Общества Екатерины II будет чем-то на

нее похожа, например спокойствием, сдержанностью. Можете себе представить, какой шок я испытал, когда мне навстречу выпорхнуло блондинистое существо в розовом атласном платье, в розовых же туфлях на высоких ярко-желтых каблуках и в губной помаде того же оттенка, что и платье. Но если у вас мелькнула мысль «кокетливая профурсетка», как мелькнула у меня, то советую немедленно отказаться от нее. За легкомысленным фасадом скрывается жесткий, целеустремленный ум, не терпящий возражений и не знающий сомнений. И если вам придет в голову мысль, что я описываю саму Екатерину II, то вы будете недалеки от истины: мило улыбаясь, Татьяна Нидель говорит в шутку, что она – реинкарнация великой Екатерины, а в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

Татьяна добивается (и, уверен, добьется) восстановления дворца, в котором она регулярно устраивает костюмированные балы. Она выходит к гостям в одеждах императрицы под руку со своим Фредди, на котором пышный парик и богатые одеяния сидят как на корове седло. Но он давно примирился с мыслью, что в него не вселилась ни душа Орлова, ни Потемкина и что сопротивление не только бессмысленно, но и опасно.

И вот они идут рука о руку в свете горящих свечей, она – мило кивая своим «подданным», и он – нелепо вышагивая рядом. Россия и Германия? Татьяна, пристально глядя на меня совершенно синими глазами, говорит: «Екатерина была лучшим из всех российских монархов. Именно при ней Россия добилась признания и достигла величия. Русский характер нуждается в немецкой прививке, и Россия должна быть признательна Германии за этот подарок».

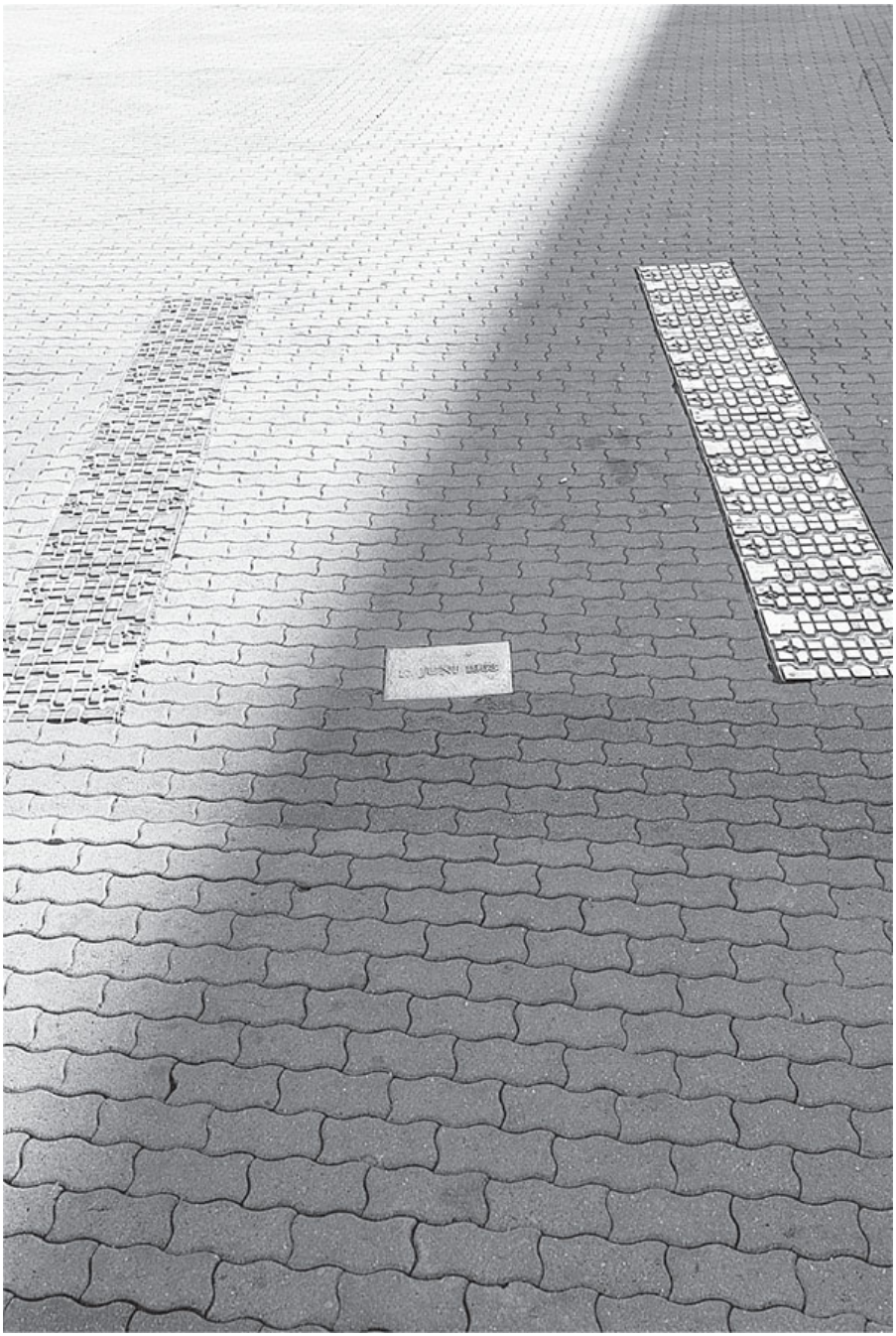
«17 июня 1953»

В Лейпциге, на площади, почти точно напротив гостиницы «Штайгенбергер» и недалеко от церкви Святого Николая, в одну из плит площади вбита небольшая металлическая квадратная плашка, на которой выведено 17 Juni 1953 («17 июня 1953»). Справа и слева от нее проходит то, что может показаться декоративными узорами. Но при ближайшем рассмотрении опытный глаз определит, что никакой это не узор, а изображение следа гусениц танка.

17 июня 1953 года в знак протеста против режима на улицы Берлина вышли сорок тысяч человек; тысячи людей – в других городах Германской Демократической Республики, в частности, в Лейпциге. В разгоне демонстрантов, помимо Вооруженных сил ГДР, приняли участие и советские войска, в том числе и танки. Крови было много. Очень много.

Прошло 36 лет, и здесь, в четырехстах метрах от этого памятника, из Николайкирхе вышли тысячи людей – они вышли из церкви во главе с пастором Кристианом Фьюрером, держа в руках зажженные свечи, и встали. Стояли молча, без лозунгов, протестуя против режима. Их окружили войска, из громкоговорителей приказывали им разойтись по домам. Они не расходились, они продолжали стоять, молча, не оказывая сопротивления. И войска отступили. То, что началось 17 июня 1953 года, завершилось 7 октября 1989 года, ровно за месяц до падения Берлинской стены.

Я стоял на площади рядом со вбитым в плиты площади напоминанием и спрашивал проходящих мимо, знают ли они, что означают эта плашка и узоры, что такое случилось 17 июня 1953 года? В ответ некоторые отворачивались и ускоряли шаг. Другие пожимали плечами. Совсем немногие отвечали: «Была какая-то заваруха…»



Потом я спрашивал, знают ли они, кто такой был пастор Кристиан Фьюрер? Не знал никто. Я не стал спрашивать, хотя очень хотелось, знакомо ли им имя пастора Мартина Нимёллера. Не стал спрашивать, потому что не сомневался в том, что снова я увижу пожимание плеч. И тогда я счел бы себя обязанным

рассказать о том, что Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер родился в Германской империи в 1892 году в семье протестантского пастора. Во время Первой мировой войны он был офицером военно-морского флота, командиром подводной лодки, за потопленные корабли противника был награжден орденом «Железный крест». После войны Нимёллер пошел по стопам отца и стал священником. Будучи националистом и ярым антикоммунистом, он вступил в НСДАП и приветствовал приход к власти Гитлера. Но вскоре пожалел об этом: нацисты рассматривали Церковь, в особенности протестантских пасторов, как врагов режима. В 1938 году Нимёллер был арестован и отправлен в концлагерь – сначала в Заксенхаузен, потом в Дахау. Он выжил – его освободили американские войска. Он знаменит своим высказыванием об ответственности. Оно звучит так:

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать».

С этими словами перекликается отрывок из проповеди английского поэта XVII века Джона Донна: «Человек не остров, целый сам по себе; каждый человек – часть континента, часть целого; если море смывает даже комок земли, то Европа становится меньше, как если бы был смыт целый мыс или дом твоих друзей, или твой собственный дом. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я – часть человечества, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Мы, люди, пока так и не усвоили этот урок. Могут людей давить танками, могут травить их в газовых камерах, нас это не касается. Точнее, касается только тогда, когда речь идет о близких. А так – нет. Не выходим на улицу по этому поводу, не протестуем. Потому что… что? Лень? Страшно? Не трогает? Не волнует?

Что случилось 17 июня 1953 года? Кто такой пастор Кристиан Фьюрер? Что сказал Мартин Нимёллер?

Да кто его знает…

Сейгем Айгюн

Я хотел назвать эту главку «Турецкий гамбит», но не стал, опасаясь, что меня обвинят в плагиате. Но название это было бы точным. Ведь гамбит – это некоторая жертва, некоторый риск, который совершается, чтобы получить стратегическое преимущество. Приглашение турецких рабочих в ФРГ в начале шестидесятых годов было, конечно, рискованным.

Подписав осенью 1961 года соглашение с Турцией, германское руководство исходило из того, что молодые и холостые (одно из условий соглашения) турки проработают два года, потом вернутся к себе домой, а на смену им приедут новые молодые холостяки, и так далее, что будет способствовать развитию так называемого «немецкого экономического чуда». Возвращать уже хорошо обученных турок на родину и получить взамен такое же количество необученных оказалось делом накладным. Поэтому приняли решение, позволяющее оставаться в ФРГ не два, а четыре года. Но позвольте, это как? Молодые горячие турки четыре года без семьи, без права жениться – что соответствовало положению соглашения – это не только негуманно, это, извините, нереально.

Ну, что ж, решило немецкое руководство, – пусть привозят свои семьи, а если нет семьи – пусть женятся здесь и постепенно вливаются в нашу Германию точно так, как в свое время иммигранты вливались в американский «плавильный котел». Это была принципиальная ошибка. Совершившие ее не подумали о том, что в Америке не было никакой титульной нации (если, конечно, не считать не связанных между собой индейских племен), иммигрантами были абсолютно все. Это во-первых. Во-вторых, все приехавшие до поры до времени были представителями европейской культуры, одной, если говорить расширенно, иудейско-христианской религии, и это их объединяло. Ничто не мешало тому, чтобы, попав в «плавильный котел», они выходили из него дотоле не существовавшей нацией – американцами. (Необходимо уточнить: когда во второй половине XX века в США резко увеличилось количество иммигрантов из Африки и Азии, «плавильный котел» превратился в «салатницу», в которой все вроде бы вместе, но каждый кусочек сам по себе.)

Другое дело – ФРГ. Там была титульная нация – немцы, и приехавшие должны были, как предполагали иные, превратиться в немцев. Пусть не сразу, но через поколение-другое. Но этому препятствовали два фактора: приехавшие были все из одной страны и их было очень много, но что еще важнее – они были не

только представителями совершенно другой культуры, но и исторически враждебной религии.

Образовалось то, что можно назвать турецким анклавом в Германии. Сегодня это – около четырех миллионов выходцев из Турции, живущих в разных городах Германии по своим традициям и не проявляющих какого-либо стремления к интеграции. Да, есть исключения. Есть смешанные браки. Есть даже двойные свадьбы, когда одну и ту же свадьбу играют и по немецким обычаям, и по турецким. Но сути дела это не меняет.

На родину турки не уезжают по очевидной причине: в Германии им живется лучше. Сейгем Айгюн – тому пример. Он приехал в Германию лет сорок тому назад, приехал из бедной, отсталой турецкой деревушки, еле-еле умел писать и читать на родном языке, не говоря о немецком. Умеет ли он писать и читать сегодня, я не знаю, хотя убедился, что очень плохо говорит по-немецки. Когда я спросил его, почему он так и не выучил немецкий язык, он ответил: «А нас никто не учил. Привезли, чтобы вкалывали, вот и вкалывали на заводе по 16 часов в сутки. До общежития доберешься после этого – только спать мечтаешь. Какой там язык! Зато моя дочь говорит как немка, да еще и по-английски умеет».

Айгюн преуспел. Он – владелец семи ресторанов «Хасир», двух гостиниц «Титаник» в Берлине и ряда гостиниц как в Германии, так и в Турции. Когда я спрашиваю, благодарен ли он Германии, чувствует ли, что он ей должен, от скалится и говорит:

– А собственно, за что? Это Германия должна быть благодарна нам. Мы привезли вкусную еду, которой не было в этой стране, мы своим трудом подняли ее.

Как он отреагирует, если одна из его трех дочерей захочет выйти замуж за немца? Он посмотрел на меня, прищурившись, недобрым взглядом.

– Мне все равно. Лишь бы любили друг друга.

Верится не очень.

Как и в то, что люди другой культуры, другой веры, другой расы, другой истории могут интегрироваться в другую страну без особых усилий, даже сказал бы – без намерения страны, их принимающей, добиться их интеграции.

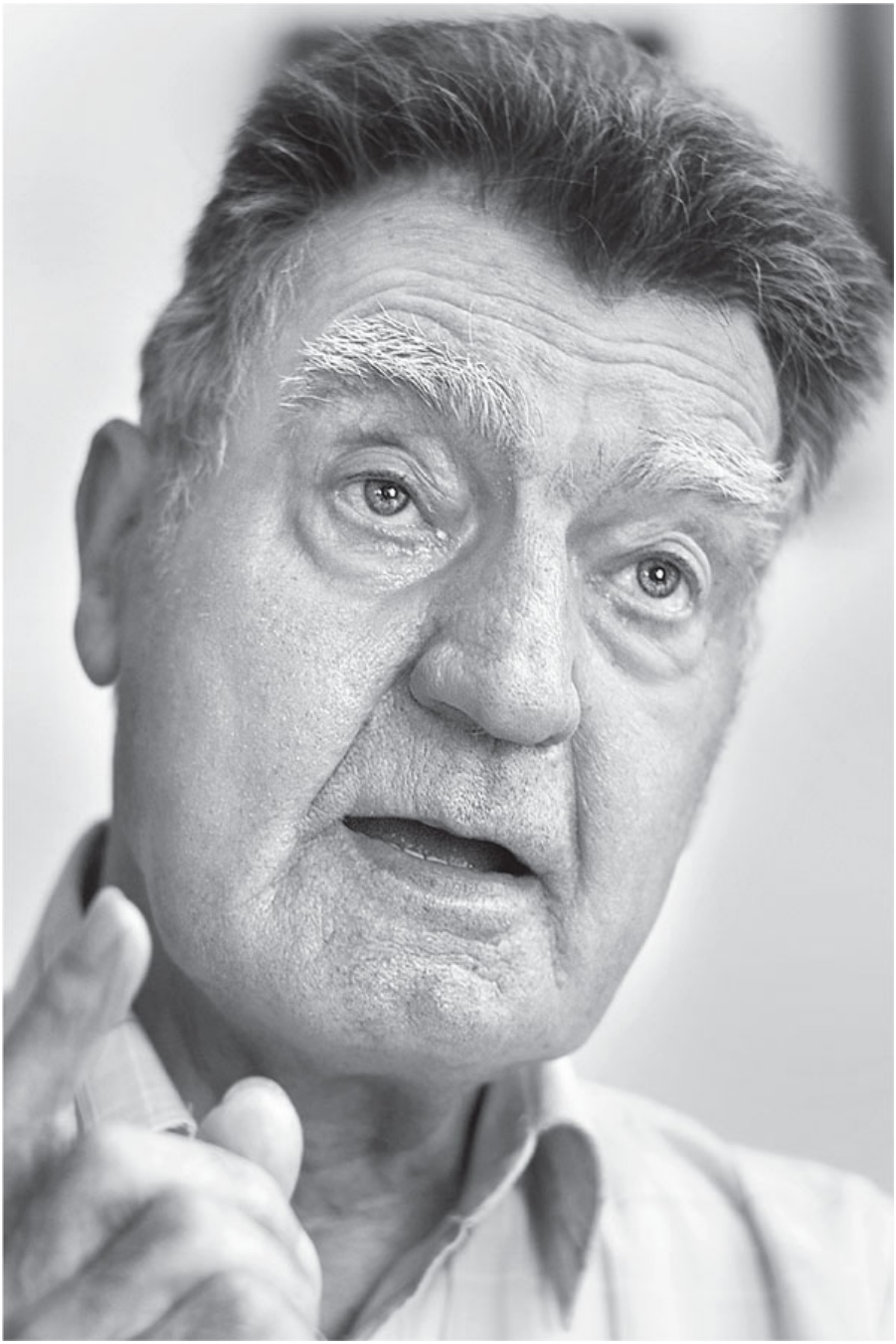
Ханс Шеффер

Он меня принял в своей малюсенькой квартире, расположенной в гедеэровской «хрущевке» в Восточном Берлине. Ему был 81 год, он на три года старше меня. В квартире царит идеальный и строгий порядок – да и хозяин строг, он смотрит на меня холодно, не улыбаясь, говорит коротко, скупо, будто забивает каждым словом гвоздь. Зовут его Ханс Шеффер, он – полковник в отставке более не существующих Вооруженных сил Германской Демократической Республики.

Меня к этому человеку привели две фотографии. На одной, относящейся к октябрю 1961 года, заложив руки за спину и расставив ноги в позе, сильно напоминающей нацистских военных, стоит офицер. Справа от него видны советские танки, а метрах в трехстах, впереди – танки американские. Этот эпизод относится к шестнадцатичасовому противостоянию танков двух сверхдержав у «Чекпойнт Чарли»[1]. Мало кто помнит об этом, но тогда мир стоял на грани новой войны: достаточно было бы одному из командиров приказать выстрелить.

Другая фотография (стр. 35) была сделана 17 августа 1962 года. На ней офицер что-то приказывает солдатам, которые держат тело раненого Петера Фехтера, пытавшегося бежать из Восточного Берлина в Западный. По пути в больницу он умер от потери крови.

На обеих фотографиях один и тот же офицер – Ханс Шеффер.



Правда, он тогда не был полковником, но офицером-то он был, и меня интересовало, как он теперь оценивает свои тогдашние поступки, не жалеет ли о чем-либо, как спится ему по ночам. Как мне кажется, если бы эти события происходили в другой стране, если бы я имел дело не с немцем, ответы был бы

иными. Не могу сказать, какими именно, но более, что ли, «круглыми», более оправдательными. А полковник в отставке, точнее, немецкий полковник в отставке, ответил вот что: «Я гражданин ГДР. Западные мне не друзья. Ни о чем не жалею. Честно и до конца выполнил свой солдатский долг».

Ответ меня ошарашил своей жесткой, даже жестокой честностью. Ни малейшей попытки что-то приукрасить, никакого притворства. Потом, разговаривая с немцами в разных районах Германии, я снова и снова наталкивался на то, что стал для себя называть немецкой правдой. Когда мы начинаем перечислять «немецкие черты», непременно говорим об аккуратности, точности, законопослушании, чинопочитании. Я добавил бы склонность говорить обнаженную правду. Это не значит, что немцы не врут. Врут все. Но не всем свойственно так беспощадно, без прикрас, без тени оправдания говорить о себе правду.

В данном случае – и случай этот важный – человек говорил правду, ни минуты не сомневаясь, что он поступал по-солдатски честно, а значит правильно. У него не возник вопрос, несет ли солдат ответственность за выполнение приказа своего командира.

Ответ очевиден: нет, не несет. Ведь ни одна армия не может существовать без принципа «приказы не обсуждают, приказы выполняют». У Шеффера, пограничника, отвечавшего за соблюдение порядка у Берлинской стены, был приказ: любого человека, пытающегося бежать, перебраться через стену, остановить – сначала окриком, потом, если беглец не подчинится, стрельбой на поражение. Ведь стена в данном случае – государственная граница, а во всем мире нелегальный переход границы наказывается, в частности, таким образом. Так-то оно так, но Берлинская стена – граница особого рода, она была установлена произвольно, к тому же не с целью препятствовать ее переходу гражданам чужих стран, а гражданам своим собственным. Ее строительство пресекало свободное передвижение граждан ГДР, ее законность сомнительна. Приказ стрелять по своим вызывает вопросы.

Наступает ли момент, когда выполнение приказа становится преступным? Принципы, выработанные на Нюрнбергском процессе, говорят: да, безусловно. Ведь в Нюрнберге судили, осудили и казнили не только руководителей Третьего рейха, но и многих других, среди которых были судьи, врачи, бюрократы и,

конечно, военные. Можно ли требовать, чтобы человек в форме (да и не только в форме) задумывался над приказом, чтобы его представления о добре и зле были важнее приказа? Я не раз говорил о том, что я атеист, но если допустить, что когда-нибудь наступит Судный день, что скажет Бог Хансу Шефферу? Да и не только ему…

Как вы думаете?

Октоберфест

Посмотрев еще раз на фотографии, относящиеся к этой теме, я понял с большим сожалением, что, помести я даже несколько десятков этих фото, я бы все равно не смог передать вам истинный дух того, о чем хочу говорить. Все-таки, нарушая собственный принцип «одна главка – одна фотография», я здесь выбрал три в надежде, что они хоть как-то дадут вам почувствовать то, что происходит здесь с 1812 года, когда весь Мюнхен праздновал свадьбу принца Людвига (будущего короля Людвига I Баварского) и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской. Мне хотелось, чтобы вы услышали барабанную дробь, звуки труб марширующих оркестров, мне хотелось, чтобы вы ощущали запахи пива, жареных цыплят, сосисок, салатов и, конечно, пота. Мне хотелось, чтобы вы оглохли от оркестров и пения десяти тысяч глоток, мне хотелось, чтобы вы, закрыв глаза, представили себе все это. А «все это» – это вот что…

Ежегодно с середины сентября до первых чисел октября в Мюнхене проходит народное гулянье Октоберфест («Октябрьский праздник»). В нем принимают участие около шести миллионов человек. Их главное занятие – пить пиво, производимое исключительно мюнехенскими пивоварнями в соответветствии с мюнхенским законом о чистоте пива 1487 года и немецким законом о чистоте пива 1516 года. За две недели этого гулянья в среднем выпивается 6 миллионов литров пива, съедается 500 тысяч жареных кур (помимо огромных кренделей, белых баварских сосисок, картофельного и капустного салатов, свиных окороков, зажаренных на вертеле быков и запеченных на палочке рыб). Все это происходит в 14 больших палатках, вмещающих до 10 тысяч человек каждая, и 15 малых на несколько сот посетителей. В каждой палатке на эстраде играет свой оркестр, музыка которого сопровождается многотысячным хором посетителей, во все горло орущих народные песни. Люди эти почти все одеты в баварские национальные костюмы, так называемые «трахт» (это может быть как для мужчин, так и для женщин). У мужчин костюм состоит из кожаных коротких штанов – (ледерхозен), рубашки, жилета, сюртука, белых до колен носков, черных на толстой подошве ботинок и шляпы с перьями. Женский костюм называется «дирндль» и состоит из пышкой юбки, весьма открытой блузки, нечто вроде корсета на шнурах и фартука. То, где расположен бант завязок фартука, принципиально важно: если слева, значит дама свободна, если справа – замужем, если

спереди посередине – девица, если сзади посередине – вдова.

На мой взгляд, пузатые, усатые и часто кривоногие мужчины выглядят комично в своих кожаных шортах. Женщины, напротив, – довольно соблазнительно. Замечу, что нигде в

Германии так активно не носят народные костюмы, как в Баварии, где зачастую в таком наряде приходят на работу.

Но это я пишу лишь для справки, собираясь с силами, чтобы передать вам то, что я чувствовал, сидя в одной из больших палаток за столом, удобно расположенным на втором ярусе, откуда видна была вся эта масса тонущих в песнях, криках, плясках и, конечно, пиве людей.

Поначалу мне было любопытно, но постепенно, по мере того как гул нарастал, как количество выпитого пива делало свое дело, как степенные баварские бюргеры превращались в какое-то тысячеглавое чудовище, мне становилось сначала неуютно, потом не по себе, а в какой-то момент в голове зазвучала тема «полета Валькирий». Вообще, глядя на происходящее, я много думал о Рихарде Вагнере, к которому я отношусь приблизительно так же, как к Достоевскому. Оба они гении, оба они понимали свой народ как никто другой.

Я часто задаюсь вопросом, схожи ли русские и немцы? Как будто нет. Но с другой стороны, именно немка была чуть ли не самой выдающейся правительницей России, да и в жилах многих Романовых текло немало немецкой крови. Наверное, можно найти схожие черты при сравнении почти любых двух народов,

но, наблюдая за разгулом на Октоберфесте, я попытался представить, могло ли такое состояться в России. Думаю, могло бы, но с одной существенной разницей. Я провел на Октоберфесте один полный день, и это был день его закрытия, то есть день особый; с Октоберфестом прощались, можно сказать, яростно, со стрельбой из пушек и старинных пистолетов. Замечу, что стреляли и мужчины, и женщины, стреляли умело, методично и ловко перезаряжая свое антикварное оружие, стреляли, я сказал бы, с удовольствием. Так вот, за весь этот день я увидел тысячи пьяных людей, но не увидел ни одной драки.

Но почему-то мне было страшно.

Крысолов

Норберт Майер – рыбак. Рыбаком был его отец. Рыбаком был его дед. Рыбаком был его прадед. Все они ловили рыбу и угрей в реке Везере, на берегу которой расположился город Гамельн. Рассказывает он мне об этом, когда мы сидим в тенистом саду у церкви XI века, в которой, оказывается, представителей рода Майеров с незапамятных времен крестили, женили и хоронили. Город Гамельн (на самом деле Хамельн, совершенно не понимаю, почему латинская буква “h” по-русски часто и весьма произвольно, безо всякой логики, превращается в «г». Например, мы говорим Гитлер, хотя правильно будет «Хитлер», но говорим Хемингуэй, а не Гемингуэй; говорим Гёте, что правильно, но Гейне, что неправильно, словом, тайны русского языка) ничем не отличается от десятков ему подобных средневековых городов Германии, так что вы вправе задаться вопросом, что, собственно, привело меня сюда. Этим же поинтересовался херр Майер. Когда же я в ответ спросил его, жили ли его предки в Гамельне во времена Крысолова, он изменился в лице. Да, да, именно так: было до моего вопроса этакое среднегерманское лицо, ничем особенно не отличающееся от всех других, а стало лицо острым, жестким, с плотно сжатыми губами и сузившимися глазами, лицом прямо-таки тевтонским.

– Сказки все это, – резко ответил Майер, – сказки, – не было никакого Крысолова, все выдумали, чтобы привлекать туристов!

Сказка же заключается вот в чем: в Гамельне завелись крысы, они размножались и наглели так, что не было от них спасу, они нападали на собак и кошек, кусали младенцев, лежащих в кроватках, съедали городские запасы, и как ни боролись с ними, ничего сделать не могли. Тогда магистрат объявил награду тому, кто поможет избавить Гамельн от крыс. Вскоре в городе появился человек в пестрой одежде и с дудкой, который обещал очистить Гамельн от крыс, за что ему было обещано «столько золота, сколько он сможет унести». Он вынул дудочку, заиграл и пошел в сторону реки Везер, а за ним потянулись крысы – сотни и тысячи крыс повылезали из своих нор, послушно следуя за мелодией дудки, и все крысы до последней утонули в Везере. Крысолов вернулся в магистрат и потребовал награду, но теперь, когда крыс можно было не опасаться, награда показалась магистрату излишней, и Крысолова прогнали. Прошло время. И вот однажды в городе Гамельне вновь появился человек в пестрой одежде и с дудочкой. Он заиграл, и к нему отовсюду сбежались дети. Околдованные взрослые не могли сдвинуться с места, а дети шли

за Крысоловом. Он вывел их из Гамельна, и больше их никто никогда не видел.

Говорят, что трое детей уцелели: один был слепым, поэтому он не видел, куда ушел Крысолов; второй был глухим, поэтому не пошел за дудочкой. А третий был хромым и немым – он отстал от других и, хоть видел что-то, ничего сказать не смог. Сказочка, скажете вы, каких сотни в мире. Так-то оно так, да не совсем. В хронике города Гамельна, в записи о 1384 годе, сказано: «Сто лет тому назад пропали наши дети». В той же хронике от 1375 года записано: «В 1284 году в день Иоанна и Павла, что было в 26-й день месяца июня, одетый в пеструю одежду флейтист вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Коппен близ Кальварии, где они и пропали».

Сказочка, записанная с немецкой правдивостью, точностью и аккуратностью в городскую хронику, которая хранится по сей день в ратуше. Или быль? Так или не так, но эта история пленила десятки, даже сотни драматургов, авторов опер, писателей и поэтов от Гёте и Роберта Браунинга до Цветаевой и Бродского. Да

и сам Гамельн хранит память об этой легенде. На зданиях то и дело можно встретить горельефы крыс, а на улице, по которой, как гласит предание, Крысолов вел детей, – Bungelosenstrasse («Улица, где запрещено бить в барабаны», «Улица молчания») по сей день запрещено исполнять любую музыку, танцевать и веселиться. Так сохраняется траур по исчезнувшим детям.

Я был в Гамельне именно 26 июня, и в этот день ежегодно весь город собирается на красочную постановку этой легенды. Все одеты в соответствующие костюмы – крыс, детишек, бюргеров, магистратов. Тот, кто при мне играл роль Крысолова, когда-то играл роль ребенка, потом крысы, потом магистрата…

Как у всякой народной сказки, и у этой есть мораль, которую по-русски можно выразить так: «Жадность фраера сгубила». Но с веками фигура Крысолова постепенно приобрела зловещую окраску и превратилась в образ коварного злодея, сладкая музыка которого увлекает и приводит к гибели миллионов людей. Не были ли такими «флейтистами» Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер? Да и множество других «дудочников» – популистов помельче, обещающих простое решение сложных вопросов и светлое будущее для всех…

Как писал нежно мной любимый Николай Васильевич Гоголь, «что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете – редко, но бывают».

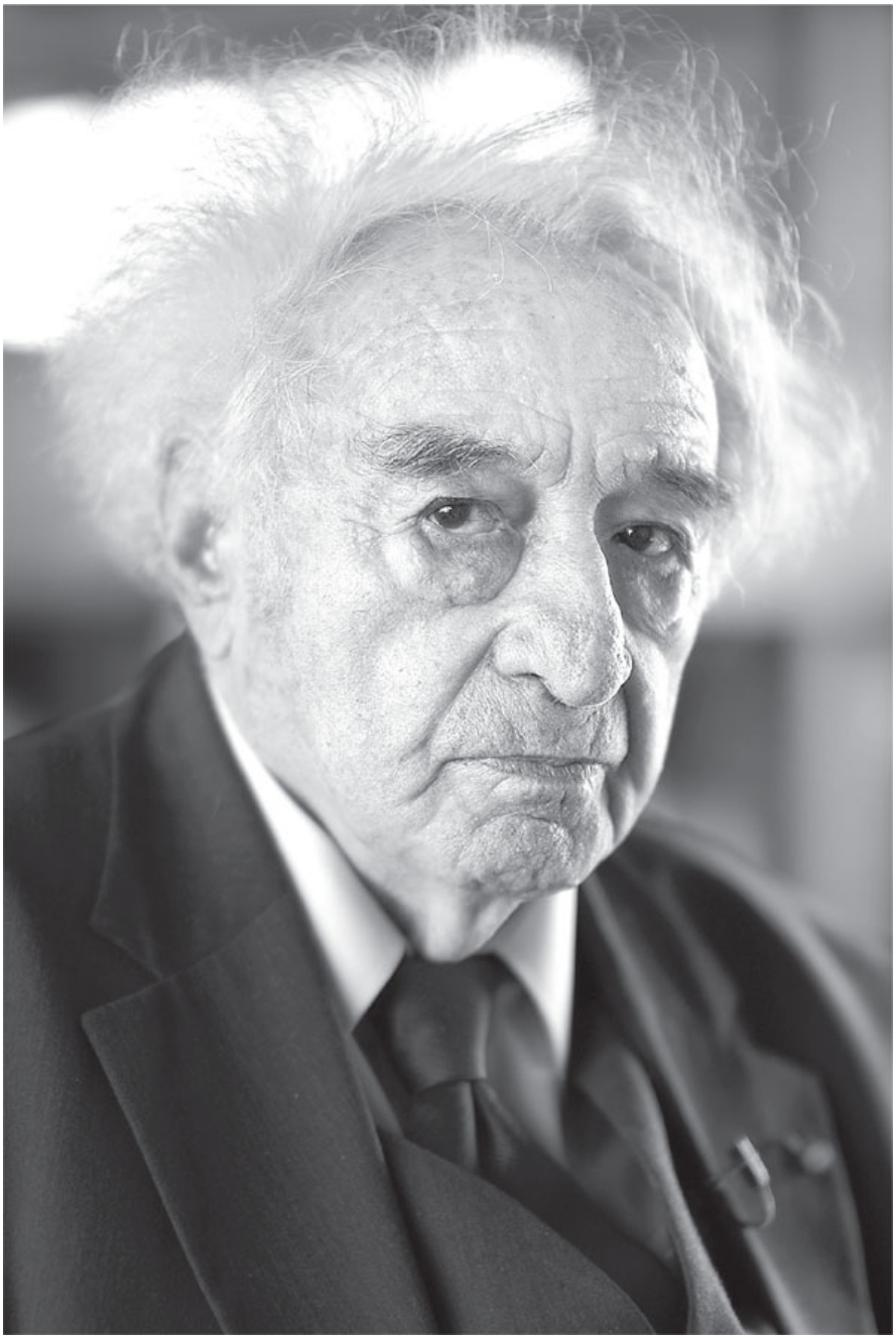
Макс Маннхаймер

Макс Маннхаймер работает экспонатом. Так, по крайней мере, показалось мне, когда мы приехали в Дахау, чтобы снять эпизод, посвященный концлагерям.

От оригинала мало что осталось: все бараки – новоделы; они построены, чтобы посетители смогли составить себе представление о том, как Дахау выглядел в дни своего «расцвета». Правда, от оригинала кое-что осталось: газовая камера и печи, в которых сжигали трупы убитых. Самое сильное впечатление – от их обыденности. Одноэтажное кирпичное здание с четырьмя окнами и четырьмя дверями, каждая из которых ведет к печи. И сама печь, по существу не отличающаяся от тех, в которых сжигают тела усопших в крематориях. Это и поражает. Ведь должно быть что-то ужасное, что-то невыносимо страшное, на что будет невозможно смотреть. А есть только скучное одноэтажное кирпичное здание с четырьмя окнами и четырьмя дверями, а за ними – четыре печи с круглыми отверстиями, куда на металлических люльках вкатывались трупы.

Чуть сбоку от крематория выставлена огромная фотография. На ней – крематорий такой, каким он был тогда. И тут я не поверил своим глазам: сквозь стекло четырех окон видны на подоконниках аккуратные горшки с цветами. Как передать ощущение от сочетания горшочков с цветами с тем местом, которое они украшают? У меня даже закружилась голова. А потом, когда я стал брать интервью у посетителей (это были немцы, приехавшие сюда из разных городов, часто со своими детьми), я подводил их к этой фотографии и спрашивал:

– Вас ничего здесь не удивляет?



И не было ни одного человека, который бы заметил это сочетание несочетаемого. Ни одного. И когда я обращал их внимание на цветы на подоконниках, они чуть смущенно улыбались и смотрели на меня с некоторым удивлением: «Ну и что тут такого?»

Макса Маннхаймера прикатили в инвалидном кресле для интервью, которое состоялось в одном из бараков-новоделов. Мне кажется, ни о чем писать не надо. Всмотритесь в его лицо. Разве оно нуждается в комментариях? Маннхаймер много и охотно рассказывал о своем существовании в концлагерях – он был и здесь, в Дахау, потом его перевезли в Аушвиц (Освенцим), но убить не успели. Скорее всего, потому, что он стал невидимым. Во время интервью он сказал мне: «Чтобы выжить в концлагерях, надо было стать незаметным, как дождь во время дождя».

Вот он и стал.

Не могу объяснить, почему, но в этом «новом» Дахау я не испытал тех чувств ужаса и омерзения, которых ожидал и которые всегда испытываю, когда по телевизору показывают документальные ленты, снятые самими немцами в концлагерях времен Третьего рейха. Ведь оригинал действует сильнее копии, пусть и самой искусной.

Спустя несколько дней мы поехали в другой концлагерь – Берген-Бельзен. От него не осталось ничего – никаких бараков, никаких признаков того, что здесь когда-то содержались тысячи узников. Нет ничего, кроме разбросанных кирпичей, небольшого количества могильных плит, очень скромного памятника Анне Франк; есть музей, но от самого лагеря не осталось ничего. Только тишина, нарушаемая шелестом деревьев и звуком собственных шагов. Но именно здесь и мне, и Ване Урганту было невыносимо тяжело. Настолько, что он не смог говорить на камеру и не смог сдержать слез. То, что происходило здесь более 70 лет назад, продолжает говорить. Нет, не говорить – выть. И описать это невозможно.

Как не задаться вопросом: есть ли что-то общее между нацистскими лагерями и советским ГУЛАГом?

Советские лагеря появились раньше немецких, в частности, на Соловках. И среди них не было лагерей смерти, специально построенных для уничтожения как можно большего количества людей наиболее эффективным и экономичным образом. А во всем остальном…

Не так давно я побывал в Северодвинске, на заводе «Севмаш», где строятся наши атомные подводные лодки. 31 мая 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б), Совет Труда и Обороны СССР приняли постановление о строительстве судостроительного завода в районе Никольского устья Северной Двины. Строительство было названо Судостроем. В 1938 году Судострой получил статус города и имя Молотовск, в 1957 году переименованный в Северодвинск.

В 1938–1953 годах существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь. В разное время в нем содержалось от 5 до 31 тысячи человек (по некоторым данным – до 50 тысяч). При этом только за 1940–1945 годы там умерло более 9 тысяч человек. Заключенные строили заводы, порт, жилые дома и дороги, валили лес и добывали песок.

Не так давно мне в голову пришла совершенно крамольная мысль: а не может ли быть так, что «эффективный менеджер» Сталин придумал ГУЛАГ рабского труда, использования бесконечно дешевого человеческого материала, которое, однажды использовав, можно было без сожалений выбросить?

Одноклассники

Когда меня привезли в Восточную Германию в декабре 1948 года, я не говорил по-русски. До вынужденного отъезда из США моего отца, за которым последовала вся семья – мама, брат Павлик и я. Дома я говорил по-французски, вне дома – по-английски. Конечно, я слышал русскую речь, когда папа говорил со своей сестрой Лёлей или с другими русскими знакомыми. Слышать – слышал, но не понимал ничего, кроме «да», «нет», «хорошо» и «пожалуйста». Если бы мы не уехали, думаю, я так и не знал бы русского языка.

Все-таки сделаю отступление, чтобы объяснить причину нашего отъезда, который был на самом деле сродни бегству.

Мой отец, Владимир Александрович Познер, вместе с родителями эмигрировал из Советской России в 1922 году. Ему было 14 лет, столько же, сколько было мне, когда мы покинули Америку. Странное совпадение. Эмигрировал он в Берлин. Еще одно совпадение. Потом, правда, переехал в Париж, где завершил школьную учебу и вступил во взрослую жизнь. Не стану вдаваться в подробности, скажу лишь, что он увлекся социализмом и Советским Союзом, увлекся настолько, что в какой-то неизвестный мне момент при неизвестных мне обстоятельствах стал сотрудничать с советской разведкой. Было ли это еще во Франции в 30-е годы, случилось ли это потом, когда мы жили в Америке, – не знаю. Но знаю совершенно точно, что сотрудничал. Более того, знаю, что в материалах советской разведки он фигурировал под именем «Платон», и имею основания считать, что американская контрразведка его вычислила. Думаю, что его должны были взять со дня на день и именно поэтому ему поступило предложение от советского руководства срочно переехать в Берлин для работы в «Совэкспортфильме». И он это предложение принял, кардинальным образом изменив мою жизнь. Конечно, он изменил и свою, и мамину жизни, но они уже были вполне взрослыми людьми – ему было 40, ей 38; брату моему было всего лишь 4 года, переезда он и не заметил. А для меня, балованного нью-йоркского мальчика, не знавшего ни голода, ни холода, учившегося в привилегированных школах, серый, все еще разбитый, пахнувший кислым дымом сланцевого угля Берлин был омерзителен и чужд.

Но, может быть, тяжелее всего было то, что я не говорил по-русски, а раз не говорил, то русские, с которыми я случайно сталкивался, принимали меня за немца, что было невыносимо мальчику военного времени, ненавидевшему немцев и Германию со всей страстностью своего подросткового сердца.

Вскоре после нашего приезда и школьных зимних каникул меня определили в 7-й класс одной из советских средних школ, которые были созданы для детей советских военных и гражданских лиц, работавших в Берлине. Тогда-то я и начал учить русский язык. Увы, не долго счастье продолжалось: в Москве решили, что советские дети, живущие в Германии, подвергаются тлетворному влиянию Запада; последовало распоряжение закрыть все советские школы и детей отправить обратно в СССР.

При отсутствии советских школ и моем категорическом отказе учиться в немецкой школе мой отец, вероятно, настоял бы на том, чтобы разрешили нам поехать в Москву. Каков был бы в этом случае сценарий, не знает никто, но шансы, что его конец был бы трагическим, велики: после окончания Второй мировой войны в СССР вернулось довольно большое количество так называемых реэмигрантов, судьба которых оказалась печальной.

Кого отправили в глухие уголки страны, кого ждал ГУЛАГ, а кого расстрел. Скорее всего, именно так сложились бы дела, если бы не одно непредвиденное обстоятельство.

Когда Гитлер и НСДАП пришли к власти в Германии, многие коммунисты бежали в Советский Союз. У некоторых были маленькие дети, другие родили своих детей в Союзе, и эти дети росли и учились в советских школах. Они говорили по-русски, как мы с вами, говорили лучше, чем по-немецки, они были вполне русскими, или, как сказали бы сейчас, россиянами. Чаще всего у них были русские имена – Тамара, Ульяна, Лора, Борис, Илья, а вот фамилии… Немецкие были фамилии. Я плохо представляю себе, каково было учиться во время войны в советской школе ребенку с фамилией Шмидт, или Браун, или Майер. А ведь у некоторых и имена подкачали: Адольф, Юта. Думаю, им не давали забывать, что они – немцы, а значит, враги, и когда кончилась война и их родителей вернули в ГДР, вряд ли они были огорчены.

ullstein bild – dpa/ Vostock Photo

А вот обстоятельство, которое я упомянул выше, заключалось в том, что для этих детей, которые, по замыслу руководства ГДР, должны были занять командные посты после получения высшего образования[2], была создана так называемая Немецко-Русская средняя школа, выпускникам которой предстояло завершить учебу в советских ВУЗах. Поэтому преподавание велось на двух

языках, русском и немецком, советскими и немецкими учителями. В эту школу определили и меня, в ней я учился два года, окончив 8 и 9 классы.

На фотографии вы видите двух моих соучеников – слева Илья Хельд, справа – Карл Хармс. Илья учился на класс старше меня, Карл на класс младше, так что название этой главы не совсем точно.

Карл, насколько я знаю, был одним из тех, кто не стал ни ученым, ни специалистом какой-либо гражданской профессии, он кончил летное училище (в СССР ли, в ГДР – не знаю) и стал летчиком-истребителем ВВС ГДР. Когда я встретился с ним дома у Ильи во время съемок фильма, он очень не хотел давать интервью, ссылался на то, что «попадался не раз». Все-таки я уговорил его, но, кажется, интервью не вошло в фильм. Да и разговор с Ильей попал, как говорят в профессии, «в корзину». Я совершенно не помню, о чем мы говорили. Но почти уверен, что главную, с моей точки зрения, тему не стали затрагивать, тему того психологического шока, который должны были испытать эти ребята, которым в Советском Союзе не давали возможности чувствовать себя советскими, а в ГДР то и дело напоминали, что они не настоящие немцы.

Я уж не говорю о том, что эти ребята были абсолютно советскими по воспитанию, они верили в советскую систему, горячо поддерживали ее, а потом с такой же пылкостью отстаивали политику ГДР, в том числе строительство всем миром проклинаемой Берлинской стены, и когда все рухнуло, то они оказались в абсолютном одиночестве. Правда, среди них были несколько человек, которые прозрели раньше других, которые сопротивлялись принятым порядкам; кое-кого уволили с работы с волчьим билетом, кое-кого, как мне говорили, посадили. Но и эти остались «ни вашим, ни нашим» и в конечном итоге никому не нужными.

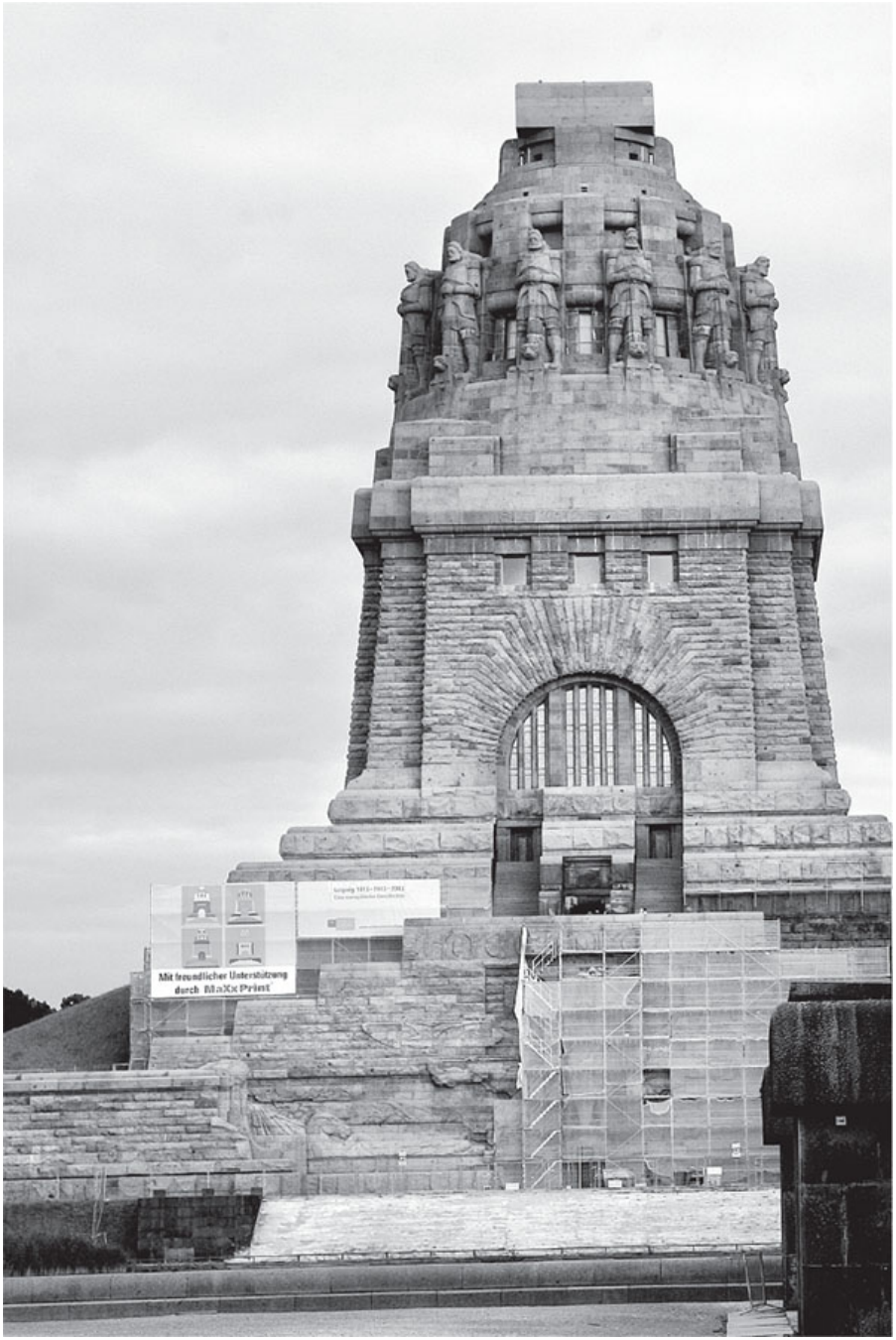
Я их часто вспоминаю, особенно девушку, с которой я дружил (первая юношеская влюбленность) и чья фамилия останется тайной. Пытаюсь представить себе: кем в глубине души они себя чувствовали? Советскими? Русскими? Немцами? Я ведь сам задаюсь этим вопросом. Кто я? Француз, как моя мама? Еврей с русскими корнями, как мой папа? Американец – ведь именно в Америке я сформировался?

И нет ответа.

Памятник

Как утверждал дорогой моему сердцу Марк Твен, следовало бы немецкий язык торжественно препроводить в музей и выставить на обозрение среди давно умерших своей смертью языков. Твен, разумеется, сострил не помню по какому поводу, но возможно по поводу слова “Völkerschlachtdenkmal”. Так по-немецки называется «Битва народов» – событие, которое произошло в 1813 году, когда объединенные австрийские, шведские, прусские и русские войска (если кого позабыл, прошу простить) разбили войска Наполеона Бонапарте. Произошло это на поле близ Лейпцига, и вот в самом центре этого поля было решено воздвигнуть грандиозный памятник в честь этого знакового события. По разным причинам дело затянулось, но все же совершилось: в 100-летие битвы памятник, вполне себе грандиозный, был открыт. Это самый крупный в Европе памятник, самый высокий (91 метр) и самый… красивый. Так по крайней мере написано на рекламном щите, расположенном метрах в двухстах от памятника. Помимо этого утверждения на щите рядом с изображением памятника нарисована Эйфелева башня, которая выглядит рядом с исполином этаким карликом.

Что до красоты, то, как говаривали мои римские предки, “de gustibus non est disputandum” («о вкусах не спорят»), памятник этот показался мне таким же красивым, как слово “Völkerschlachtdenkmal”: как это слово оскорбляет мой слух, так памятник оскорбляет мой взор.



Побывав во множестве мест во время съемок, я убедился в том, что многие германские памятники объединяют размер (XXXXL) и тяжеловесность; кроме того, в них есть что-то угрожающее, по крайней мере, так мне показалось. Памятник Баварии, возвышающийся над пивным разгулом Октоберфеста,

памятник Германии, с угрозой глядящий через Рейн на Францию, колонна Победы в Берлине, вся увитая пушечными стволами, – все они такие.

Написав это, тут же подумал о России, в которой хватает памятников-уродов, например Александру III. Правда, по его поводу тут же сочинили стишок:

Стоит комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест!

Все жду, когда сочинят что-нибудь по поводу памятника Александру Калашникову, который испоганил Садовую-Каретную улицу. И подумав об этом, я вдруг вспомнил удивительное сходство официально принятого изобразительного искусства гитлеровской Германии с официально принятым изобразительным искусством сталинского СССР.

Впрочем, я отвлекся.

Я так и не выяснил, сочинили ли немцы какие-нибудь смешные стихи по поводу того или иного своего памятника. А жаль.

Правда, я узнал, что памяник в честь победы на Наполеоном является излюбленным местом молодых неонацистов. Правда, это не смешно.

Эрнст-Йорг фон Штудниц

Когда я брал интервью у этого господина, он уже лет десять возглавлял Немецко-русский форум. Но знал я его гораздо раньше, гораздо раньше даже того времени, когда он был послом ФРГ в Российской Федерации (1995–2002), я познакомился с ним в далеком 1969-м или 70-м, когда он был советником посольства ФРГ в Москве. И с тех пор он остается для меня фигурой с вопросительным знаком.

В те, теперь уже далекие, времена общаться с иностранцами в СССР было делом рискованным. Они жили в своеобразном гетто, главным образом на Кутузовском проспекте, и все входы в их дома тщательно охранялись милицией. Чтобы пройти, необходимо было предъявить паспорт, что делать совершенно не хотелось: о вашем приходе тут же сообщалось куда следует, а последствия могли быть самыми разнообразными. Чаще всего посетителями были либо лица, которым это разрешалось и которые потом писали отчеты о своем посещении, либо диссиденты.

Ходил и я.

Но ни к одной из этих категорий я не относился; мое так называемое «иностранное происхождение» вкупе со значительным количеством родственников и знакомых за границей делало меня исключением из правил. Понятно, что о каждом моем приходе докладывалось. Меня охотно приглашали и на приемы в разные посольства, и к себе домой, главным образом иностранные журналисты, а я в свою очередь воспринимал это как выражение их высокой оценки моих знаний и интеллекта, говоря проще, вел себя как индюк. На самом деле я был им интересен как источник информации, то есть меня «доили», и я с удовольствием «доился».

Однажды меня пригласил на ужин к себе домой один советник. Как жаль, что я не могу вспомнить, какой именно. За столом нас было восемь человек: советники финского, японского посольств и посольства ФРГ, господин фон Штудниц, все трое с женами, и я с женой. У кого именно мы были дома – хоть убей не

помню.

Я тогда был ответственным секретарем журнала «Спутник», никакими связями или особым весом не отличался, совершенно не соответствовал высокому дипломатическому рангу тех, кто был на этом ужине. Ужин длился довольно долго, жены советников молчали, а сами советники задавали мне вопросы, и я солировал. Сильно увлекшись своим значением, я демонстрировал смелость и свободолюбие, в частности рассказывая о том, какой дискриминации подвергаются евреи в СССР.

Спустя дня три мне позвонил мой отец и спросил, не могу ли я зайти. Прямо сейчас. По его тону я понял, что дело не терпит отлагательств. Мои родители жили на Новослободской улице (ныне Юрия Долгорукого), минут через двадцать я уже был на месте. К моему удивлению, папа был не один. Он дожидался меня с неким Виктором Александровичем. Тут придется сделать небольшое отступление.

Мой отец, живя во Франции и в Америке, сотрудничал с советской разведкой. Об этом я узнал незадолго до его смерти, но еще раньше я понимал, что у него особые отношения с КГБ. Я не помню, при каких обстоятельствах и как я познакомился с Виктором Александровичем, но хорошо помню, что он, как сказал мне мой отец, «курирует» нашу семью. Позже я узнал, что он был в чине генерала, что долгие годы он был резидентом в Турции. Лицо у него было крайне неприятное, я даже сказал бы – отталкивающее: большие навыкате темные глаза, большой с горбинкой нос, высокие скулы, довольно тонкие красные губы. Чем-то он напоминал мне хищную птицу. Он был категоричен, не допускал возражений, неглуп и очень начитан: я был дома у него раза три и поразился его библиотеке, которая состояла почти целиком из так называемой «запретной» литературы.

Когда я пришел, отец сказал, что Виктор Александрович хотел бы поговорить со мной, и тот предложил пойти пообедать. Предложение прозвучало скорее как приказ, мы вышли, сели в дожидавшую его «Волгу» и поехали в ресторан «Прага». В те годы я почти не бывал в ресторанах, поэтому с нескрываемым любопытством разглядывал роскошный интерьер. Виктора Александровича официанты приветствовали как родного. На третьем этаже нас ожидал отдельный кабинет с накрытым абсолютно дефицитными в те годы яствами столом – различными колбасами, крабами, икрой черной и красной, помидорами.

За все время поездки не было сказано ни одного слова, но, сев за стол, Виктор Александрович спросил:

– Есть будешь?

Учитывая обстановку, вопрос показался мне странным, я не ответил и просто кивнул. Виктор Александрович достал из внутреннего кармана пиджака несколько листов бумаги, сунул мне и сказал:

– На, почитай.

Это был написанный от руки донос на меня. Очень подробный, очень точный пересказ всего, что я сказал на том ужине с тремя советниками. Я молча вернул листы Виктору Александровичу. Он усмехнулся и сказал:

– Если догадаешься, откуда это, значит ты умный. Но ты не догадаешься. Ты не умный. Ты дурачок. Ты думаешь, они от тебя в восторге? Да они презирают тебя, болтуна, индюка.

Он смотрел на меня пристально, неотрывно, а я молчал, растерянный, потерянный.

– Если бы мы не ценили так твоего отца, если бы не жалели твою мать – посадили бы тебя, понял? Но имей в виду, еще один такой прокол, и посадим. А теперь ешь на здоровье.

Насколько я помню, я не съел ничего. Аппетит пропал совершенно.

С тех пор прошло больше сорока лет. Я так и не узнал, как именно был получен этот донос. Вернее, я прекрасно понимаю как, но я не знаю, кто его автор. Но не сомневаюсь, что им являлся один из этих советников. И каждый раз, когда я смотрю на фотографию фон Штудница, я вспоминаю этот эпизод, который оказался важным в моей жизни: я разом повзрослел, поняв со стыдом роль собственного тщеславия.

Когда я встретил фон Штудница, чтобы взять у него интервью для нашего фильма, то спросил его, помнит ли он наш ужин сорокалетней давности.

– Какой ужин? – с удивлением спросил меня бывший советник и бывший посол, глядя на меня прозрачными голубыми глазами.

Роланд Ян

Среди типичных черт немцев есть одна, которой не решаюсь дать оценку «хорошо» или «плохо». Я имею в виду совершенно жесткую, ничего не признающую прямоту. Теоретически это может выглядеть так…

Женщина спрашивает: – Правда, я выгляжу моложе своих лет?

Ответ: – Нет, мне не кажется.

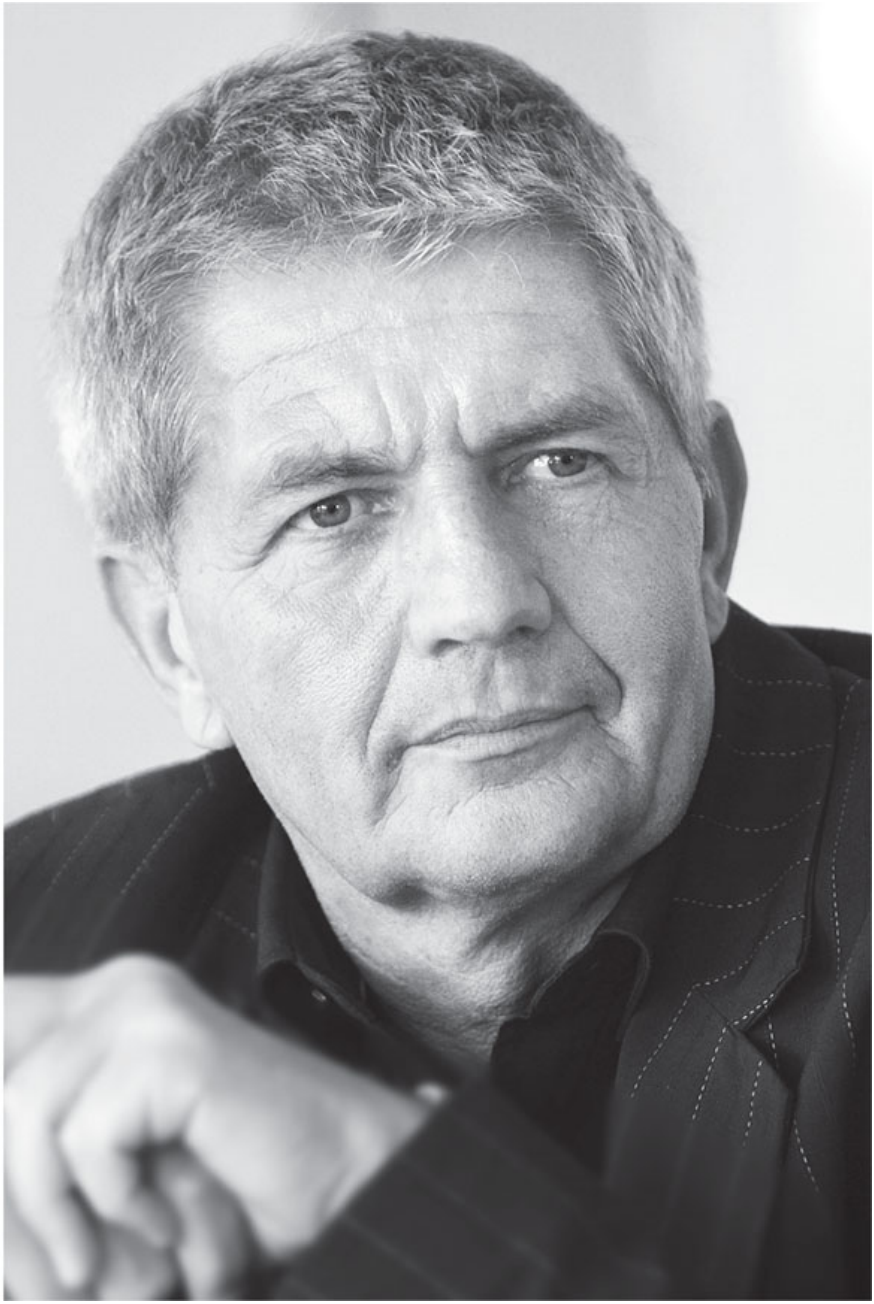
В любой знакомой мне стране ответили бы комплиментарно. В любой, кроме Германии. Это хорошо? Это плохо?

Из области теории перейдем в область практики.

Господин Роланд Ян возглавляет BStU – службу, занимающуюся архивами Staatssicherheitsdienst, сокращенно SSD, в просторечии Stasi, по-русски – Министерство государственной безопасности ГДР.

Когда стало понятно, что скоро наступит конец существованию Германской Демократической Республики, среди первых и наиболее срочных стояла задача уничтожения множества документов, в том числе относящихся к деятельности Stasi. Технически это делалось с помощью шредера – аппарата, специально созданного для резки бумаги на тоненькие полоски и крошечные кусочки. Это и есть то, что досталось работникам службы – тысячи мешков измельченной бумаги. Что с этим делать? Казалось бы, сжечь, уничтожить. Но нет, была поставлена совершенно другая задача: восстановить столько документов, сколько физически возможно.

Вы, конечно, знаете, что такое пазл? Когда из нескольких десятков, иногда сот, редко тысяч кусочков надо воссоздать единую картину. Это довольно трудно, но, учитывая, что картина прилагается, можно подбирать тот или иной кусочек по цвету, по рисунку и таким образом воссоздать целое.



facearchive

Но тут пазл совершенно другого рода. Здесь миллионы кусочков бумаги при полном отсутствии какого-либо рисунка. Это работа невероятной сложности. Цель же одна: восстановить письма, доносы, рапорты, которые позволят выяснить личности тех, кто либо служил в Stasi, либо работал на них, проще говоря – «стучал».

Дело хорошее? Не спешите с ответом.

Конечно, выявить бывших членов тайной полиции и тех, кто им прислуживал, дело благородное, но… Представьте себе такую историю: во времена ГДР некая фрау Шмидт официально работала незаметной служащей в Министерстве торговли, а на самом деле работала в Stasi. Об этом не знали ни ее муж Дитер Шмидт, сотрудник банка, ни ее дети Мария и Ханс, которым в том время было соответственно 10 и 12 лет. Прошло десять лет. ГДР более не существует. Господин Шмидт ныне служит директором сберкассы, дети учатся – Мария в художественной школе, Ханс в Гейдельбергском университете. А фрау Шмидт переквалифицировалась, открыла собственный магазин, в котором торгуют предметами искусства из Юго-Восточной Азии, используя прежние связи. Все хорошо. Но вот господину Яну сотоварищи удается «склеить» несколько бумажек, из которых становится понятным, что фрау Шмидт не только работала в Stasi, но писала доносы на собственного мужа. Нет, ничего плохого она не писала, просто выполняла приказ: писала правду. Мужу это, к счастью, не навредило, но все же… И вот в один прекрасный день Дитер Шмидт, его дети Мария и Ханс узнают, что их милая жена/мама работала вовсе не в Министерстве торговли ГДР, а в Stasi, да не просто работала, а еще и стучала на них.

Последствия такого сюрприза предсказать сложно, но в том, что последствия будут, к тому же малоприятные, можно не сомневаться. Вполне допустимо, что семья развалится. А ведь несчастная госпожа Шмидт выполняла приказ, ослушаться не могла – вернее, могла, но боялась последствий. Так может быть, не надо предавать гласности такие вещи?

Роланд Ян абсолютно убежден, что надо. Необходимо. Правда требует того. Правда, считает Ян, это абсолют. Она всегда лучше неправды, всегда лучше неизвестности. И мы, говорит он, будем разбирать эти мешки (их, кажется, порядка 30 тысяч) до самого последнего клочка бумаги. В поисках правды.

Во время интервью у господина Яна я пытался понять, чем руководствуется он в своей работе, каково «топливо его внутреннего мотора»? Справедливое и объективное осуждение тайной полиции, державшей в страхе население ГДР, или что-то другое? Например, личный мотив. Я выяснил, что Роланд Ян еще со школьной скамьи конфликтовал с режимом ГДР. Началось с чепухи – пошел воевать за право своего одноклассника носить длинные волосы, что запрещал директор школы. Аж в Министерство образования в Берлин поехал из города Иена, в котором сам родился и жил. И добился своего! Потом, будучи 24-летним студентом университета, вышел на демонстрацию, держа

над головой пустой белый плакат как протест против цензуры. Еще через пять лет распространил свою фотографию, на которой одна половина была раскрашена под Гитлера, а другая – под Сталина. Был исключен из университета. Ему еще не было 30, когда был арестован и приговорен к 22 месяцам тюрьмы за то, что разъезжал на велосипеде с польским флагом и надписью в поддержку профсоюза «Солидарность». Дело кончилось тем, что Яна лишили гражданства и депортировали в ФРГ, откуда он оказывал самую разнообразную помощь противникам гедеэровского режима.

Так вот, вопрос: страстное стремление Яна разобраться «до последнего клочка» бумаги, никого не жалея – это что? Высочайший образец служения правде? Или жажда мести?

И когда мы размахиваем лозунгом справедливого разоблачения тех, кого мы когда-то боялись, тех, кого мы ненавидели, всегда ли нами руководит неодолимое желание служить истине?

Только не спешите с ответом.

Тило Саррацин

Сей господин прославился в Германии книгой «Германия. Самоликвидация», вышедшей в свет 2 сентября 2010 года. Почти ровно за год до этого, 6 сентября 2009 года, Саррацин дал интервью журналу “Lettre Internationale”, в котором высказал, в частности, следующее суждение: «Интеграция есть задача того, кто интегрируется. Я не обязан уважать того, кто ничего для этого не делает. Я вообще не обязан кого-то уважать, кто живет за счет государства, отвергает это государство, не заботится должным образом об образовании своих детей и постоянно производит на свет маленьких „девочек-в-платках“». Речь, как вы понимаете, шла об иммигрантах из Турции и арабских стран.

Интервью вызвало гневное осуждение как германских СМИ, так и подавляющего большинства представителей истеблишмента (хотя и не всех). Саррацину было предложено подать в отставку со своей должности в Государственном банке, но он отказался, в связи с чем его служебные функции были резко ограничены. Когда же вышла «Германия. Самоликвидация», разразился всегерманский скандал.

Управление федерального банка постановило ходатайствовать перед Федеральным президентом об освобождении Саррацина от должности члена Совета директоров. Дело завершилось тем, что Саррацин добровольно покинул Совет, но добившись того, что пенсия, которую он будет получать по достижении им пенсионного возраста, должна быть поднята на 1000 евро в месяц до уровня, соответствующего плановому окончанию его контракта с федеральным банком в 2014 году. При этом Саррацин объяснил свой добровольный уход нежеланием ставить под удар авторитет должности Федерального президента в случае, если тому пришлось бы отправить Саррацина в отставку своим распоряжением и оно было бы впоследствии признано судом незаконным.

Если свести книжку Саррацина к нескольким пунктам, то автор утверждает следующее:

Иммиграционная политика ФРГ ошибочна.
Если иммигранты из России, Польши, стран Балтии

и Кореи быстро адаптируются к новым условиям, если их дети учатся ничуть не хуже немецких, а сами они работают качественно и постепенно интегрируются в немецкое общество, то дети турецких и арабских иммигрантов учатся очень плохо, а их родители вообще не работают и не стремятся к интеграции.

Это грозит Германии серьезными последствиями, поскольку эти иммигранты рожают значительно больше детей, а эти дети, повзрослев, но ничему не научившись и даже плохо говоря по-немецки, придут в народное хозяйство с катастрофическими последствиями.

Необходимо принципиально изменить иммиграционную политику, а именно: не допускать приезда нелегальных иммигрантов, резко сократить число приезжающих в Германию иммигрантов из арабских стран.

Мы должны усилить контроль на своих границах с Италией и Австрией, а также между Европой и Африкой. Если для этого необходимо изменить конституцию, то пусть это будет сделано… Я бы даже сказал, что если необходимо разместить нелегальных иммигрантов в центрах задержания, то пусть будет сделано и это.

Последний пункт – цитата из интервью Саррацина эстонскому журналу Delfi от 19 декабря 2016 года. В этом же интервью Саррацин заявил: «Германия – это корабль, который идет ко дну».

Когда я брал интервью у Саррацина, он был совершенно спокоен: говорил тихо, размеренно, твердо отрицал обвинения в расизме, тем более в фашизме, отстаивал свои взгляды ссылками на открытую и общедоступную статистику. Я задавал вопросы, слушал его ответы и отгонял от себя назойливый внутренний голос, спрашивавший: «А может, он прав? Не во всем, конечно, но в чем-то прав?»

Существуют темы не то чтобы запретные, но подход к которым требует не меньше осторожности, чем хождение по заминированному полю: один неверный шаг – и ты подорвешься. Вот конкретный пример. Когда я снимал фильм об Израиле, то в серии, посвященной Иерусалиму, я среди прочего сказал, что был неприятно удивлен тем, насколько этот город грязен. Еще я сказал, что арабская часть Иерусалима отличается большей чистотой, чем израильская. Я рассказал о том, что я видел собственными глазами. В ответ на это на меня обрушился шквал обвинений в антисемитизме. Чуть расширив эту тему, могу

сказать, что любая критика в адрес Израиля воспринимается в определенных кругах именно так. Когда я говорил с весьма высокопоставленными членами парламента и правительства Израиля о неоднократных нарушениях решений ООН относительно построения поселений на палестинских землях, не было ни одного человека, который не сказал бы мне, что на самом деле эти решения ООН есть проявление антисемитизма: мол, быть откровенным антисемитом ныне в мире не модно, но можно скрыть свой антисемитизм под личиной критики Израиля. И в таком споре ты не можешь выиграть, потому что доказать, что ты не верблюд, невозможно.

Возвращаясь к встрече с Саррацином, я помню, как, будучи в Германии и разговаривая с разными немцами, я слышал полные возмущения обвинения в его адрес, обвинения в расизме, национализме, даже в фашизме. С одной стороны, резкую реакцию немцев на публично высказанные взгляды Саррацина я отлично понимаю: никто не забыл о Третьем рейхе, о проповеди «высшей расы» и о Холокосте, чувство вины никуда не делось, а если не вины, то как минимум стыда. По всем внешним признакам немцы, как ни один другой народ, не позволяют себе забыть прошлое. Помню, как лет двенадцать тому назад я спросил своего десятилетнего внука, рожденного в Берлине, что говорят им в школе о нацизме (он учился в немецкой школе). Цитирую по памяти:

«Нам говорят, что виноват был не только Гитлер, не только нацисты, нам говорят, что виноват был немецкий народ, который поддерживал Гитлера».

Вот так. В какой еще стране учат ребенка тому, что именно его народ был виноват в тяжелых преступлениях, когда-то совершенных с якобы благородными целями?

Я не могу судить о том, насколько «перевоспитались» немцы. Но понятно, что не все избавились от нацистской прививки, о чем, между прочим, свидетельствует один из моих самых любимых немецких анекдотов:

Немецкий водитель везет группу туристов из Израиля в Заксенхаузен, один из самых страшных лагерей смерти. По пути автобус ломается.

– Посидите, господа, – успокаивает всех водитель, – сейчас схожу в деревеньку рядом, все починим.

Он подходит к аккуратному, чистенькому домику, перед которым на аккуратно подстриженном газоне цветут аккуратно посаженные цветы, и звонит в дверь. Ему открывает седовласый розовощекий хозяин.

– Чем могу помочь? – спрашивает он.

– Да вот, я везу группу евреев в Заксенхаузен, но автобус сломался…

– Помог бы с удовольствием, но у меня только микроволновка.

Жестко, конечно, но по-немецки прямо и правдиво.

Возвращаясь к тому, с чего начал: в нынешних обстоятельствах есть вещи, которые нельзя говорить без риска того, что будешь предан анафеме с ярлыком «расист», «националист» и того хуже «фашист». К ним относятся любые утверждения, да что утверждения, сомнения в том, что не все иммигранты способны интегрироваться. Может быть, правильнее было бы сказать вместо «не способны» – «не хотят», но это уже тонкости. Примеров предостаточно. Очень яркий – китайцы в Америке. Они появились в последней четверти XIX века, создали свои знаменитые «чайнатауны», но так и не стали американцами. В этих анклавах по сей день вовсе не говорят по-английски или говорят из рук вон плохо. На всех магазинах надписи только на китайском. Но в условиях Америки это, скорее, забавно, нежели повод для беспокойства: население США составляет порядка 300 миллионов человек, среди них китайцев чуть больше 2 миллионов (что равно 0,7 % от числа всех жителей). Нет даже теоретической угрозы того, что этот неинтегрирующийся чужой этнос – чужой по культуре, истории, религии, традициям – станет столь многочисленным, что повлияет на местный. Чего нельзя сказать о мусульманской иммиграции в Германии (и не только).

Я не специалист, но сами эти вопросы, как мне представляется, достойны обсуждения. Отмахиваться от них, причислять тех, кто задает их, к моральным уродам, как произошло в случае с Саррацином, как минимум ошибка, если не хуже: глупо. Явный политический откат вправо, приведший к власти Трампа в Америке, Орбана в Венгрии, Качиньского в Польше и причудливую смесь руководителей в Италии, случился не без причин. Как мне кажется, нежелание задаться вопросом: нет ли ошибок в практическом применении теории мультикультурализма, нет ли заблуждений по поводу возможного интегрирования любого национально-религиозного этноса среди другого, одна из них.

Лея Рош

Ей на этой фотографии 76 лет. От нее веет силой. Разговаривая с ней, я пытался представить ее за 17 лет до нашей встречи – именно тогда, в 1995 году ей, берлинской журналистке, пришла в голову мысль создать в этом городе мемориал жертвам Холокоста.

Как с любой идеей, а с такой тем более, ее воплощение было трудным. Многие были против, и причин тоже было много. Помимо ожидаемых «идейных» противников, то есть тех, которым идея была противна по существу («Уже хватит этих мемориалов, Холокостом наелись досыта!»), были другие, гораздо менее предсказуемые, в частности, различные представители еврейской диаспоры.

А были и такие, кто был за, так сказать, в принципе, но… Например, канцлер ФРГ Гельмут Коль, который, как рассказывала мне госпожа Рош, сказал ей, что поддерживает ее предложение, но «сейчас не время говорить об этом публично», поскольку предстоят выборы, а вот после выборов… Зато основной противник Коля, Герхард Шредер, был против. Но жизнь причудлива: Рош удалось уговорить Коля не только публично поддержать идею создания мемориала, но и дать необходимые указания для ее запуска, и когда выборы выиграл Шредер, тому не оставалось ничего, как выступить в поддержку проекта. Как сказала мне Рош, «он вскочил в последний вагон уходящего поезда».

Мемориал, движущей силой которого она является, не предмет моих размышлений. Некоторым он нравится, некоторым – нет. Он состоит из бетонных плит – их более двух тысяч – гладких, серых, без надписей. Все они стоят, но можно бы сказать, что некоторые чуть ли не лежат, так они низки, но большая часть

стоит, безмолвно стремясь в небо. Я провел не один час среди этих обелисков, глядя либо вдаль, либо ввысь, и чем дольше я ходил по этому бесконечному бетонному лесу, тем тяжелее становилось на душе, тем труднее было дышать и тем сильнее охватывало чувство одиночества и безнадежности. Но пишу я не о мемориале. Я пишу о том, какие мне пришли в голову мысли, когда я после пятилетнего перерыва вновь смотрел на эту фотографию Леи Рош.

Такие люди, как она, всегда являются для меня загадкой. Мемориал ее десятилетней борьбы не принес ей ничего – ни денег, ни славы. Правда, в Википедии можно найти упоминание, что она – автор идеи. Если хорошенько поискать. А так – ничего. Я абсолютно уверен: многие ее друзья уговаривали ее бросить это дело. Зачем нервничать, зачем делать себе врагов, к чему это все?! Уверен и в том, что ей досталось по полной, что она получила целый воз оскорблений от «смельчаков», пользующихся удобствами Интернета. Наверняка коллеги-журналисты уговаривали ее заняться чем-нибудь более «актуальным», в конце-то концов, мемориалов жертвам нацизма предостаточно, да и война кончилась пятьдесят лет тому назад.

Впустую.

Она своего добилась.

Почему-то вспомнил разговор с двадцатилетним сыном моих друзей. Мальчик умный, честный, остро реагирующий, как свойственно этому возрасту, на несправедливость и ложь. Он был среди тех, кто незадолго до президентских выборов принимал участие в демонстрации протеста в Москве. Его забрали, как и

многих, он сутки отсидел в КПЗ, потом отпустили – это было его первое «нарушение», но оштрафовали, кажется, на пять тысяч рублей, которые уплатили его родители. Рассказывая мне об этом, он сказал, что в следующий раз оштрафуют тысяч на пятнадцать, а потом вообще дадут срок.

– Я не готов к этому, – сказал он, – но что-то надо делать, чтобы поменять ситуацию, а я не понимаю, что. Может, мне просто оставаться в Англии? (Он закончил там университет.)

Участвовать в демонстрациях, конечно, можно; помимо всего прочего, это дает адреналин и ощущение реального дела. Только подчас эти выходы на улицу напоминают мне грибоедовское «шумим, братец, шумим», потому что чаще всего участвующие в этом молодые люди – а именно они составляют большинство – не имеют ясного представления о цели. Главное, они – против. Но против чего? Ну, против Путина, против авторитарности его режима, против несменяемости власти. Взять, например, демонстрации, прошедшие под лозунгом «Он нам не царь». Это акция против чего? Против третьего срока Владимира Путина? Но за Путина проголосовало более 70 % избирателей, следовательно, это акция против подавляющего большинства, и она заранее обречена на неудачу. Если бы в Москве вышли пятьдесят тысяч человек, это говорило бы о серьезном неприятии нынешней власти, но при самом оптимистическом подсчете количества вышедших на улицу по всей стране все равно получается пшик. Впрочем, это не так важно: сегодня пшик, а завтра кто знает?

Выходить на улицу с протестом не только можно, но и нужно, если ты видишь в этом свой долг и если ты можешь ясно и четко объяснить себе, для чего ты выходишь. И еще: если ты отдаешь себе отчет в том, что представляешь собой ничтожное меньшинство и что, скорее всего, ты встретишь противодействие.

Так к чему тут рассказ о Лее Рош? А к тому, что можно добиться чрезвычайно значимых вещей, не выходя на улицу, не участвуя в публичных протестах. Можно, например, участвовать в муниципальных выборах и победить, а потом, будучи избранным, добиваться определенных целей. Другими словами, кроме героического – а порой псевдогероического – участия в публичных протестах есть другие, иные пути, которые порой оказываются куда более эффективными.

Не обязательно садиться в тюрьму, чтобы оставаться верным своим убеждениям.

Дитер Грауманн

Дитер Грауманн – президент Центрального совета евреев Германии. Я хотел выяснить, каково реальное положение с антисемитизмом в стране, повинной в гибели 6 миллионов евреев. Понятно, что официально все отлично, все под контролем, никаких публичных проявлений антисемитизма нет, а если вдруг что-то такое появляется, то применяются самые строгие (я бы даже сказал драконовские) меры пресечения. И все-таки…

Прежде чем продолжить, расскажу вам один, на мой взгляд, удивительно меткий анекдот. Как и почти все антисемитские анекдоты, он придуман, конечно же, евреями. Итак…

Прилетает в Берлин из Тель-Авива пожилой еврей. Ну, такой щупленький, неказистый, в очках. Выходит из аэровокзала «Тегель», таща тяжелый чемодан, подходит к первому такси (а их очень много, все «Мерседесы» цвета кофе с молоком) и спрашивает водителя:

– Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к евреям?

Водитель несколько ошарашен неожиданным вопросом, но отвечает:

– Я? К евреям? Замечательно отношусь! Эйнштейн, Чарли Чаплин, Ньютон! Гениальный народ!

– Спасибо, – говорит еврей и подходит к следующему водителю: – Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к евреям?

– Что же вы такое спрашиваете?! – удивляется водитель. – Моя жена еврейка!!

– Спасибо, – говорит еврей и идет дальше. Доходит до восьмого водителя и задает ему тот же вопрос. Водитель оглядывается, не следит ли кто за ним, и говорит:

– Жалко, что Гитлеру не удалось решить вопрос до конца.

На что еврей говорит ему:

– Вы честный человек. Посторожите, пожалуйста, мой чемодан, пойду пописаю.

Такие анекдоты не рождаются на пустом месте, не так ли, спросил я Грауманна. Он согласился, но потом рассказал совершенно для меня неожиданную вещь:

– Евреи жили в Германии долго и вполне счастливо до прихода к власти Гитлера и нацистов. Настолько счастливо, что очень многие среди них никак не могли поверить в то, что над ними нависла смертельная опасность: они отказывались уезжать, а когда поняли, что к чему, было уже поздно. Так вот, – продолжал Грауманн, – так возник образ еврея-жертвы, еврея угнетенного, еврея, боящегося собственной тени. Для антисемита такой еврей – лакомый кусок. Выжившие немецкие евреи так и не смогли вырваться из лап этого страшного прошлого и в этом смысле оставались отличный целью для стрел антисемитов. Но произошла совершенно непредсказуемая и поразительная вещь: в Германию хлынул поток советских евреев. Это началось в семидесятых, но тогда это был ручеек; когда же пал железный занавес, ручеек стал широченной рекой. Но вы понимаете, это были другие евреи. Это были евреи-победители, а не евреи-жертвы, они не оглядывались с опаской, а шли прямо, высоко подняв голову. Они 9 мая выходят на улицу с орденами и флагом, они пляшут под аккордеон, они поют песни военных лет. Им ничего не страшно, и к ним не привяжется ни один антисемит.

Через несколько лет, когда я снимал фильм об Израиле и брал интервью у премьера Биньямина Нетаньяху, я спросил его, в какой степени алия из СССР и России изменила Израиль.

– Это невозможно даже представить себе, – ответил он. – Из-за них изменилась страна. Ведь Израиль был аграрной страной, без науки, без промышленности. А приехали люди необыкновенно образованные, с университетским образованием, математики, физики, не говоря о великолепных музыкантах, которые резко подняли культурный уровень страны.

Дальше он хитро улыбнулся и сказал:

– Так что ваша потеря оказалась нашим ценнейшим приобретением.

Есть над чем поразмышлять, не правда ли?

Бернхард Шлинк

Длинный, тощий, на первый взгляд аскет. Пока молчит, выражение лица донельзя печальное.

Бернхард Шлинк прославился своим романом «Чтец», который вышел в свет в 1995 году. Он был переведен на английский в 1997-м и оказался первой книгой немецкого автора, попавшей в список бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Но подлинную популярность книга приобрела после выхода одноименного фильма, главные роли в котором сыграли Кейт Уинслет и Рейф Файнс. Это было в 2008 году.

До этого я книгу не читал, но фильм меня совершенно потряс, и когда встал вопрос о съемках документального кино о Германии, Бернхард Шлинк стоял чуть ли не первым в списке тех, кого я хотел интервьюировать.

Мы встретились в одном из классов университета, где он преподает юриспруденцию. Пожалуй, это было одно из лучших моих интервью. Вы можете представить себе мое огорчение – нет, не огорчение, а возмущенное разочарование, когда выяснилось, что из-за ошибки звукооператора интервью было записано с браком и не могло быть использовано.

К счастью, я записывал от руки некоторые высказывания Шлинка, которые, на мой взгляд, необыкновенно точны и помогают понять немцев. Вот некоторые из них:

«Мы, немцы, предпочитаем видеть себя гражданами мира или европейцами, а не немцами».

«Немцы все еще прикованы к своему прошлому, и это сильно влияет на то, как они относятся к Европе и к миру».

«Вплоть до сегодняшнего дня немецким детям приходится разбираться с тяжелыми картами, которые сдала им история».

«Для меня моя немецкость является гигантским грузом».

«Европейский кризис крайне мучителен для Германии, потому что этой стране удалось отступиться от себя путем ныряния в европейский проект. Развал этого проекта лишил бы немцев «бегства от себя».

«Есть желание спрятать свою немецкость, маскироваться в мире, который не является космополитичным».

Слушая Шлинка, я все время думал о том мучительном чувстве вины, которое так и не отступает и, собственно, объясняет то, что говорит Шлинк. Когда я начал снимать документальные ленты о разных странах, я придумал вопрос, который задавал абсолютно каждому, с кем встречался:

– Завершите, пожалуйста, следующее предложение: «Для меня быть (американцем, французом, итальянцем, немцем, израильтянином, англичанином, испанцем и т. д.) значит…»

В каждой стране хоть и отвечали по-разному, ни в одной не отрицали своей принадлежности к этой стране… кроме Германии. Не было ни одного человека, который бы ответил что-нибудь вроде «принадлежать к великой культуре», «гордиться своими достижениями в науке и философии» и так далее. В значительном большинстве случаев отвечали: «быть европейцем», «быть человеком мира». Быть немцем не хотел никто. Чувство вины. Чувство стыда.

И я спросил себя: а как бы завершил это предложение русский? Задался и задаюсь этим вопросом, потому что русским есть за что повиниться, есть чего стыдиться в XX веке – как и немцам. Правда, есть одна существенная разница. Немцы не то что покаялись (хотя и это тоже), они разобрались с нацизмом, с Гитлером и, что важно, не дают себе успокоиться, забыть. Русские так и не разобрались ни со Сталиным, ни с советским строем (и, конечно, не покаялись). Как мне представляется, это породило уродливый комплекс самоненависти и самовосхищения. Я всегда поражаюсь типичному для многих россиян высказыванию, звучащему примерно так: «Летом отдыхал в потрясающем месте, там не было ни одного русского!» – такого не услышишь ни в одной другой стране.

Стена

В ночь на 13 августа 1961 года в Берлине были перекрыты более 130 улиц и дорог, восемь линий городской электрички, четыре ветки метро. Были заварены водопроводные и газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабели.

Так началось строительство Берлинской стены.

В городе стена была собрана из бетонных блоков, а за его пределами представляла собой металлическую сетку. Общая протяженность стены достигала 155 километров, высота ее была 3,6 метра, границу между ГДР и Западным Берлином охраняли более 11 тысяч пограничников.

Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года. Она простояла всего 28 лет, но вошла в историю навсегда, как Великая Китайская стена, строительство которой началось в III веке до н. э.

Но Берлинская была и, насколько мне известно, остается единственной в своем роде, поскольку она была построена не с целью не впускать чужих, а с целью не выпускать. Собственных граждан. Она практически приравняла Германскую Демократическую Республику к тюрьме и ее граждан к заключенным.

Граждане – не все, конечно, но очень многие – настолько не хотели жить в собственной стране, что пришлось удерживать их силой. Это решение было публичным признанием поражения социализма (как называли этот строй в СССР и его сателлитах). С этого момента мыслящий человек должен был прийти к выводу

об обреченности этого строя.

Возведение Берлинской стены на самом деле было капитуляцией так называемого социалистического строя, хотя лидеры этого строя как в Москве, так и в Берлине сами того не понимали. В этом есть что-то от древнегреческой трагедии, когда поступок, совершенный давным-давно, предопределяет трагическую развязку.

Может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет об этом пьесу?

Никлас Франк

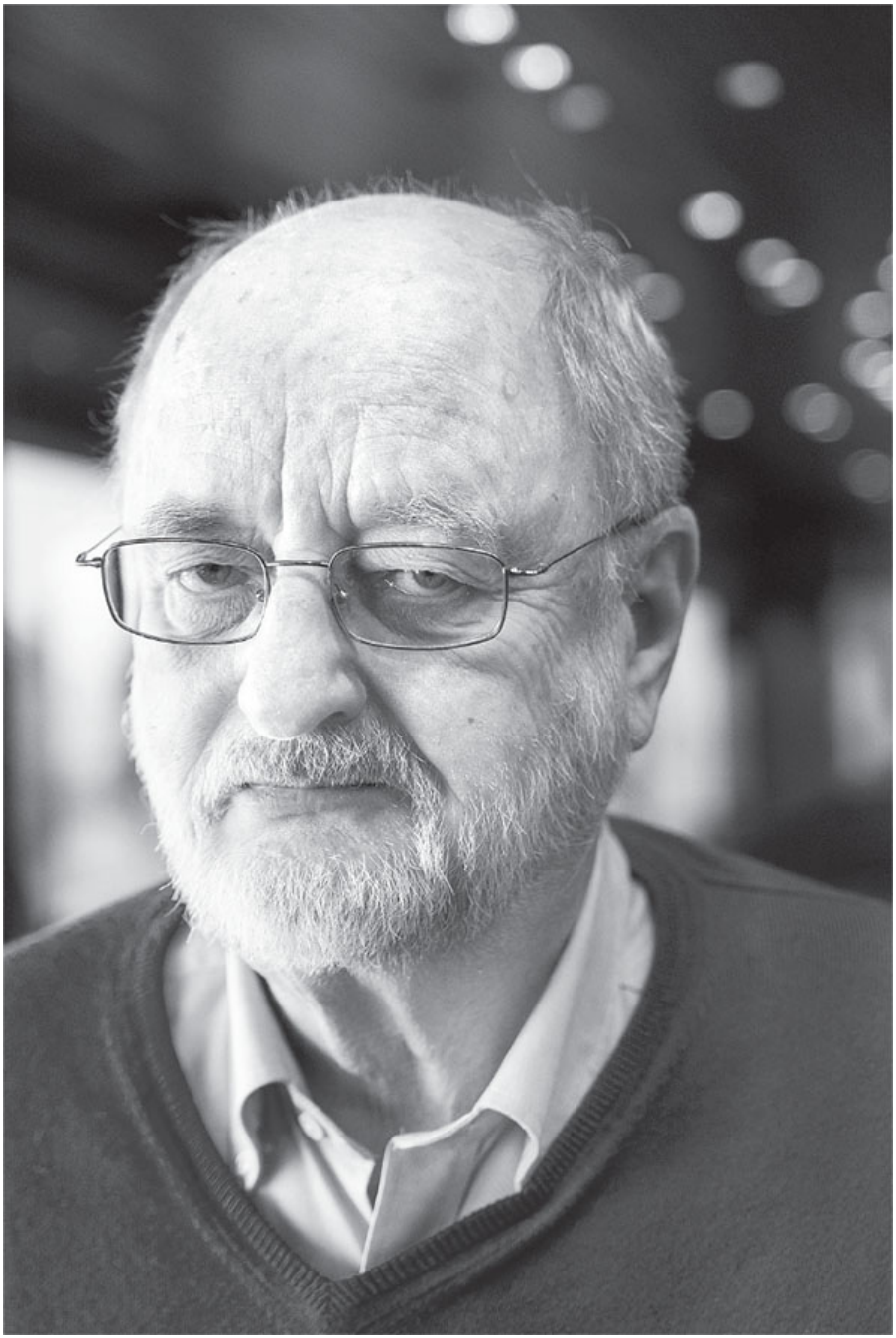
Сын Ханса Франка, одного из самых страшных нацистских преступников, судимого в Нюрнберге и повешенного 16 октября 1946 года.

Детей у этого монстра было пятеро: три сына и две дочери. К тому времени, когда я встретился с младшим, Никласом, остальных не было на свете. Старшая сестра, убежденная нацистка, уехала в ЮАР еще во времена апартеида, где и скончалась. Средняя покончила с собой, когда достигла возраста казни ее отца – 46 лет. Два старших брата ушли из жизни тихо, никому не напомнив о том, чьими они были отпрысками. Чего нельзя сказать о Никласе: я застал его вполне живым (и насколько мне известно, он жив по сей день) и деятельным: еще в 1987 году он написал книгу о своем отце “Der Vater: Eine Abrechnung”, название которой я перевел бы как «Сведение счетов». Книга наделала много шума из-за невероятной ненависти, с которой Никлас писал о своем отце, изображая его подлым, хитрым, трусливым, кровожадным мерзавцем.

Разговаривая с ним, я пытался не столько понять даже, сколько почувствовать, что побудило его столь скрупулезно, столь беспощадно показать миру собственного отца – давно осужденного, давно казненного. Как будто мало было Ньюрнберского процесса, тысяч страниц свидетельских показаний. Может быть, Никлас не мог простить своему отцу того, что тот… был его отцом? Может быть, это была попытка

доказать всем и каждому, что он от отца отрекается и не просто осуждает, а проклинает? Кому он что доказывал?

Любопытно, говорят, что никто из детей Ганса Франка детей не имел; будто они считали, что эта фамилия не должна получить продолжение.



Волей-неволей возникает параллель: я был знаком с отпрысками советских руководителей, которым, на мой взгляд, было место на скамье подсудимых: Берии, Хрущева, Маленкова, Молотова. Когда я спрашивал, как они относятся к своим отцам, получал ответ, будто сделанный под копирку:

– Он любил меня.

Фитце

Так этот человек у меня и записан в дневнике: Фитце. Просто Фитце. Без имени, хотя, конечно, имя у него было. Но я не записал его и… забыл.

Я попросил, чтобы мне дали возможность взять интервью у какого-нибудь бывшего партийного деятеля ГДР, вот и подсунули мне этого Фитце. Сказали, что он был высокопоставленным деятелем FDJ (Freie Deutsche Jugend), их варианта ВЛКСМ, а потом стал партийным начальником. Когда ГДР почила в бозе, товарищ Фитце не стал стреляться из-за идеологических соображений. Он вступил в одну из левых партий и, как мне сообщили, занимает там высокий пост. Судя по размерам кабинета, в котором он принимал меня, это была правда.

Произвел на меня омерзительное впечатление: в глаза не смотрел, был многословен, а на вопросы не отвечал.

– Давайте, товарищ Фитце, представим себе, что холодную войну проиграли не СССР и соцлагерь, а США с союзниками. Как вы думаете, удалось ли бы вам, бывшему партийному функционеру противника, так славно устроиться, как устроились вы сейчас?

Я понимал, что вопрос риторический, но мне хотелось увидеть выражение лица и глаз товарища Фитце, когда он сообразит, о чем речь. И ничего я не увидел. Фитце был хорошо обучен, на его лице не дрогнул ни один мускул; правда, если бы взглядом можно было убить, я стал бы трупом.

Чуть помедлив с ответом, Фитце сказал:

– Что ж, и мы имели право…

И как-то неопределенно помахал руками.

Я сразу вспомнил один из моих любимых советских анекдотов о том, как в колхоз приезжает агитатор с лекцией о социалистической демократии. Отбарабанив ее, он обращается к полусонной публике:

– Ну, что ж, товарищи, вопросы есть?

К своему неудовольствию, он видит, что какой-то мужик в последнем ряду поднял руку.

– Я слушаю.

– Скажите, пожалуйста, я имею право…

– Имеете, имеете, – перебивает его агитатор, не дождавшись окончания вопроса. Потом вновь спрашивает: – Еще есть вопросы?

Все тот же человек из заднего ряда поднимает руку.

– Товарищ, я ответил на один ваш вопрос, но уж так и быть. Спрашивайте.

– Я хочу знать, я имею право…

Лектор его вновь перебивает:

– Я же сказал вам – имеете! Ну, еще есть вопросы?

Человек из последнего ряда вновь поднимает руку.

– Ну, товарищ, это уже слишком! Задавайте свой вопрос!

– Я хочу знать, я могу…

– Нет, не можете!

Трудно точнее передать суть так называемой социалистической демократии: имеете право, но не можете.

Йорг Метке

Говорил с ним, известным в Германии журналистом, о свободе печати. В какой-то момент, желая подчеркнуть преимущество Германии в этом вопросе, я сказал:

– Но у вас все же демократическое государство!

На что Метке ответил:

– Да… у нас демократия. При хорошей погоде. А что будет, если погода испортится, судить не берусь.

И усмехнулся.

Сколько лет прошло, но я не могу забыть ни выражения его глаз, ни чуть ироничной улыбки, ни самого определения: Демократия при хорошей погоде.

Бригитте Циприс

Если вы наберете ее фамилию в Гугле, то убедитесь в том, что она весьма и весьма активная и влиятельная персона. Я хотел бы обратить ваше внимание лишь на один предложенный ею законопроект – это было в 2005 году, – который стал федеральным законом. Он устанавливает некоторые ограничения прав неонацистов на политические и общественные акции. В частности, он запрещает ультраправым проводить демонстрации в «исторически чувствительных местах». Такими, как разъясняет закон, являются памятники жертвам Холокоста и национал-социалистического режима, музеи на территории бывших концлагерей и сооружения, которые были культовыми для нацистов во время Третьего рейха, например бывшее здание Рейхсминистерства авиации и Бранденбургские ворота в Берлине. Но это не все. Закон предлагает властям каждой из 16 федеральных земель Германии самостоятельно определить прочие запретные зоны для ультраправых.

А как же демократия? Как же свобода слова? Как же право на митинги и демонстрации? А вот так. Демократии сколько угодно. Говорите что хотите. Митингуйте, выходите на демонстрации, но… соблюдая некоторые правила, потому что демократия предполагает в обязательном порядке, что исполнение ваших прав не может наносить ущерб правам других.

В 20-х или 30-х годах прошлого века один из самых выдающихся членов Верховного суда США, Оливер Уэнделл Холмс-младший, высказался в том духе, что человек не имеет права кричать «Пожар!!!» в битком набитом кинотеатре только потому, что ему хочется. В данном случае его право говорить, что он хочет, уступает праву других на безопасность.

Момент это тонкий.

Помню, как мой друг, человек, придумавший телевизионный жанр “talk show”, Фил Донахью, не соглашался с моим утверждением, что надо было запретить книгу Гитлера «Майн кампф».

– Нет, – говорил Фил, – надо, чтобы все смогли прочитать

книгу, чтобы при ярком солнечном освещении всем стало видно и понятно, что там написано. Запрет только возбуждает интерес.

– Ну да, – отвечал я, – книгу опубликовали, и люди разобрались в ней при ярком солнечном свете, но только ценой пятьдесяти миллионов жизней и жутких ужасов.

Я остался при своем мнении, а Фил при своем.

Предполагает ли демократия вседозволенность? Конечно, нет. Но весь вопрос в том, какие возможны ограничения, при которых демократия остается демократией, а не фикцией? Мне кажется, что нет рецепта, нет незыблемых правил.

Права была госпожа Циприс, добиваясь принятия закона, который запрещает неонацистам устраивать демонстрации около памятников жертвам нацизма? Да, на мой взгляд, была. А если бы она предложила принять закон, вообще запрещающий ультраправым проводить демонстрации, она была бы права? Это не было бы нарушением демократии?

Но ведь сами ультраправые, приди они к власти, отменят все демократические права, ведь так? А придут они к власти, используя демократию. Значит, их надо запретить, правда?

Конечно, правда… Но как быть с их демократическими правами?

Ханс Бьерке

Она резко встала и вышла из комнаты на веранду. Там открыла сумочку, достала сигарету и закурила.

Я вышел одновременно с ней, постоял рядом, потом спросил:

– Что, тяжело?

Она посмотрела на меня… нет, не с ненавистью, но с чем-то близким этому чувству. С неприязнью, враждебно. Сжала аристократические губы (ее аристократичность просто бросалась в глаза – в движениях, во взгляде, в фигуре, в тонких щиколотках и длинных, выразительных пальцах) и почти выплюнула:

– Хватит! Обрыдло! Сколько можно?!

Из комнаты, откуда мы только что вышли, было слышно, как кто-то рассказывает о нацистских концлагерях, о зверствах, там творимых. Шел просмотр видеоленты, было это в Переделкино в доме у моих друзей-киношников, которые пригласили меня на обед с «немецкими гостями». Замечу, что меня часто приглашают на такие обеды/ужины, считая, видимо, что мое иностранное происхождение и умение говорить на «их языке», как в буквальном, так и в переносном смысле, должно позитивно подействовать на них, расслабить и успокоить их напряженные русской действительностью нервы.

В данном случае приглашен был господин Ханс Бьерке с супругой в надежде, что он, крупнейший деятель кино и телевидения, примет финансовое участие в предлагаемом моими друзьями проекте кинофильма. Именно с этой целью были устроены обед и последовавший за ним просмотр, с которого минут через десять после его начала сбежала супруга господина Бьерке Александра.

То, что сотворил Гитлер сотоварищи и при полнейшей, чтобы не сказать восторженной, поддержке немецкого народа, лично для меня представляет собой самое тяжелое преступление в истории человечества. И дело не только – и даже не столько – в количестве убитых и замученных людей, сколько в идеологической подоплеке происходившего. Этому нет прощения.

И это нельзя предать забвению.

Надо отдать должное немецкой общественности, которая настойчиво и, можно сказать, с немецкой педантичностью и основательностью делает все возможное, чтобы память об этом преступлении не исчезла. О ней напоминают на каждом шагу: например, в том районе, в котором живет моя дочь, в Шёнеберге, то и дело на улицах попадаются небольшие щиты с указами гитлеровского времени: «Евреям вход в парк запрещен», «Евреям собираться группами запрещено», ну и так далее. Детям, родившимся через несколько десятилетий после гибели Третьего рейха, напоминают о нем на уроках истории. Когда я спросил своего внука, что ему и его одноклассникам говорят о гитлеризме (ему было лет 10), он ответил: «Знаешь, говорят, что виноват был не только Гитлер, не только нацисты, что виноват был немецкий народ, который поддержал Гитлера и нацистов». Да, я в курсе того, что несколько ранее я уже обращал ваше внимание на этот факт. Понимаю и то, что с точки зрения редактуры повторы излишни. Но я нарушу правила редактуры и повторюсь, потому что считаю сказанное бесконечно важным.

Я тогда мысленно снял шляпу перед немцами, перед немецкой школой. Ведь как просто было бы сказать: «Да, был злодей Гитлер, были злодеи нацисты, они были преступниками, они причинили миру, в том числе нашей любимой Германии, тяжелые страдания, за что и поплатились. Но это все в прошлом, с этим покончено». Но нет, не ограничились этим: виноват немецкий народ. И тогда легко ответить на некоторые трудные вопросы:

– Разве может народ ошибаться?

– Да, может.

– Разве может народ совершать преступление?

– Да, может.

– Разве народ может быть виноватым?

– Да, может.

– А как понимать выражение «Глас народа – глас Божий»?

– Пожалуй, лучше не задумываться над этим…

Я все жду, когда в России честно и во весь голос скажут, что Сталин был преступником, что большевики в разных своих ипостясях были преступниками, что они были виноваты в свершении тяжелейших преступлений, которые отбросили Россию на много десятилетий, но что виноваты в этом не только они, виноват в этом и русский народ, который восторженно поддерживал и самого Сталина, и созданную им систему. Я уверен, что когда-нибудь это случится, но дождусь ли?

Вернемся к нашим баранам, то бишь в Переделкино и к

господину Бьерке с супругой.

– Хватит! Обрыдло! Сколько можно?! – с ненавистью, сдавленным голосом сказала она.

– Вы о чем? – спросил я, прекрасно понимая, о чем она.

– О чем?! О бесконечном раскаянии, о всеобщем осуждении, о Гитлере, о нацизме, ну, хватит, все сказано, мы все признали, мы посыпали головы пеплом, мы съели тонну дерьма, мы вывалялись публично перед всеми во всех вонючих лужах, какие есть и каких нет, и мне хватит, по самое горло хватит, не хочу больше слушать эту песню и не буду слушать ее, понимаете, не буду!!!

Было видно, что она страдает. И я испытывал от этого удовольствие. Мне страшно хотелось спросить, что делали ваш папа, ваш дедушка в те, уж не столь далекие, годы? Где служили? Какие подвиги совершали во славу Третьего рейха? Скольких евреев убили, чтобы избавить мир от недочеловеков? С каким рвением выбрасывали правую руку, приветствуя вождя, и с каким восторгом пели “Deutschland, Deutschland über alles”? Но не спросил. Я даже не спросил ее о том, как получилось так, что ее муж, такой успешный и богатый деятель киноиндустрии, член совета директоров нескольких крупнейших компаний, родился не в Германии, а в Аргентине? Не потому ли, что его отец оказался среди тех высокопоставленных нацистов, которым удалось ускользнуть от рук правосудия и бежать в Латинскую Америку, где их ожидал теплый прием под крылом сочувствовавших им местных полуфашиствующих диктаторов? Хотел спросить, да не спросил. Но когда кончился просмотр и мы, расположившись на террасе, пили чай, я сказал о том, что собираюсь снимать документальный фильм о Германии и очень хотел бы взять у них интервью, когда буду в Баварии (то, что живут они под Мюнхеном, было для меня абсолютно ожидаемым фактом).

Она посмотрела на меня с неприязнью, подняла руку, как бы отталкивая мое предложение, но господин Бьерке широко улыбнулся и радушно – даже слишком – сказал, что да, конечно, это будет замечательно, обязательно, только дайте знать заранее.

Встреча состоялась. На широком, безупречно ухоженном газоне, окруженном не менее безупречно ухоженными деревьями, в лучах заходящего баварского солнца, они сидели на двух стульях, он и она, и отвечали на мои вопросы. Наша киногруппа довольно долго плутала в поисках их особняка, расположенного

километров в 20 от Мюнхена, опоздали мы примерно на час и были встречены хозяйкой словами о том, что интервью вряд ли состоится, у них нет времени, ждут гостей. Но господин Бьерке, вновь взяв на себя роль «доброго полицейского», сказал, что нет, ничего страшного, время найдется, мы ни в чем не виноваты, заблудились, что ж, с кем не бывает.

Интервью состоялось, и его супруга упорно давала мне понять, что терпеть нас не может, меня в первую голову, а он делал вид, что наш приезд доставляет ему исключительное удовольствие. И она со всей своей откровенной неприязнью была мне несравненно симпатичней и интересней, чем он. Во время интервью она говорила то, что думала, – прямо, жестко, не выбирая выражений. И по поводу раскаяния, и по поводу турок, заполонивших Германию, и по поводу иммигрантов. А он смотрел на нее почти просяще и необыкновенно внимательно, порой вставляя поправки и смягчая ее суждения.

Но победила она. Потому что интервью все-таки не состоялось: мы приехали слишком поздно, быстро садящееся солнце не давало того освещения, которое было необходимо для качественной съемки, а своего света с собой почему-то в этот день не взяли. Так что все, что было, я рассказал по памяти.

Не так давно я узнал, что Ханс Бьерке покончил с собой. Застрелился.

* * *

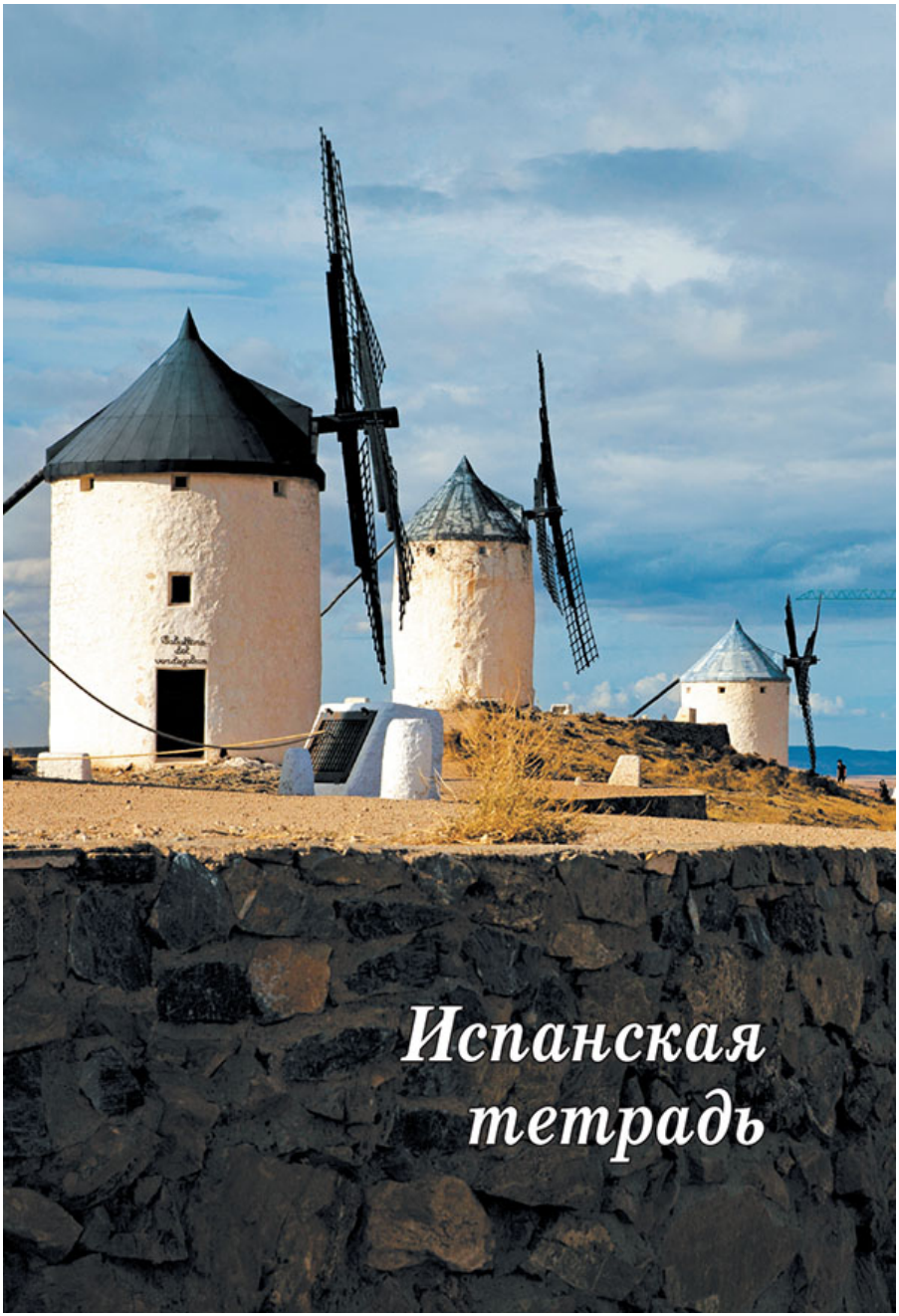
Ну, вот и закончил.

Перечитал все и задался вопросом: то, что я написал, – объективно? В нем нет враждебности к немцам, к Германии? Я смог преодолеть свои пристрастия?

Вдруг возник вопрос: а для кого я писал – для вас или для себя?

Ей-богу, не знаю.

Испанская тетрадь



Введение

Поездка по Испании изначально была странной. Я в Испании бывал. Первый раз, мне было шесть лет, семья бежала из оккупированной Франции. Помню, что сидел в купе и с удивлением смотрел через окно на то, как мой отец плачет, прощаясь со своей сестрой, моей тетей Тото. Еще помню, что в купе кроме моей мамы была молодая женщина, которая была представлена мне как «твоя няня». Много лет спустя я узнал, что это была не няня (как только мы пересекли испано-португальскую границу, она исчезла), а дочь богатой еврейской семьи, согласившейся дать моему отцу некую сумму денег, необходимую для подкупа гестапо и получения документа для выезд из Франции. Без такого документа ему, еврею, да еще с Нансеновским паспортом[3], выезд был заказан, а собственных денег на подкуп гестапо у него не было.

Еще помню, что на франко-испанской границе испанский пограничник потребовал открыть один из чемоданов, и когда папа открыл его, таможенник залез рукой на самое дно, вытащил книгу и, посмотрев название, положил ее назад, взял под козырек, развернулся и вышел из купе. Папа с мамой хохотали, хотя я ничего смешного в этом эпизоде не увидел. Позже папа рассказал мне, что книга называлась «Мемуары кардинала де Рец» и что пограничник, видимо, страстный католик, увидев слово «кардинал», мгновенно решил, что человека, возящего с собой такую литературу, невозможно заподозрить в неблагонадежности и такой человек достоин глубокого уважения. Причина смеха заключалась в том, что кардинал де Рец был авантюристом и фрондером, вызывавшим гнев католической церкви. Если бы пограничник был более образован, нам бы грозила опасность: увидев книгу фрондера, он бы потребовал открыть все чемоданы, в одном из которых обнаружил бы три тома избранных сочинений В. И. Ленина. Зачем отец так рисковал, я так и не спросил его никогда, но это была совершенно бессмысленная игра с огнем. Впрочем, не единственная и далеко не самая опасная в его жизни.

Еще я помню, как мы шли по мадридской улице, папа нес багет. Навстречу шел мальчик лет 14-ти, необыкновенно худой. Он сказал что-то папе, который протянул ему багет. Мальчик взял его, вопросительно посмотрел на папу, а потом бросился прочь, прижимая к груди хлеб. Я спросил папу, что сказал мальчик, и он ответил мне:

– Он сказал, что хочет есть.

– А почему он убежал? – спросил я.

– Потому что боялся, что я передумаю и отниму у него хлеб.

Я тогда не знал ничего об испанской гражданской войне, о том, кто такой Франко. Но потом, через несколько лет, живя в Нью-Йорке, я познакомился с несколькими испанцами – политическими беженцами, дружившими с моими родителями, и постепенно получил представление об этой войне.

Когда мне исполнилось 14 лет, когда мой отец потерял работу за свои «красные» взгляды, когда нам пришлось переехать из двухэтажной дорогущей квартиры, расположенной в престижном районе Нью-Йорка, в совсем скромную квартиру и в совсем другой район, меня из-за тесноты определили жить у Марии Луисы Фалькон, испанской подруги моих родителей, воевавшей против Франко и еле сумевшей унести ноги от фалангистов.

Я Марию Луису обожал за сияющую улыбку, за необыкновенную доброту, за то, что она позволяла мне ложиться спать, когда хотел (в отличие от строжайшего домашнего порядка), и еще за то, что когда однажды она обнаружила под моей кроватью набор полупорнографических журналов, она не сказала ни слова, а лишь аккуратно сложила их стопочкой на полке у изголовья моей постели.

Много лет спустя, учась на биофаке Московского государственного университета, я подружился с Антонио Претелем, родители которого бежали от Франко в Советский Союз в 1939 году. Он, как и подавляющее большинство «советских» испанцев, вернулся на родину сразу же после смерти Франко (1974 г.). Этот массовый отъезд запомнился мне навсегда. Эта тяга к родной земле после тридцати пяти лет жизни, – пусть на чужбине, но на чужбине, ставшей второй родиной для одних и реальной родиной для тех многих других, кто родился в Союзе, – поразила меня. Мне кажется, такой жажды своей земли нет ни у одного другого народа.

Не знаю, почему, но Испания меня всегда, с самого детства, занимала, казалась особой, таинственной, непохожей на все прочие страны Европы. Я зачитывался книжками о конкистадорах, о могущественной Испании XVI века, об инквизиции. Дома у нас в Нью-Йорке висела превосходная копия картины Гойи «Мальчик в красном»: красное платье резко оттеняет белизну лица и черноту глаз и волос ребенка. От него веет беззащитностью; три кота притаились за мальчиком справа и жадно уставились на птицу, которую тот придерживает бечевкой. Дальше слева – клетка с птичками. Так получилось, что моим первым художником стал испанец Гойя. С него началась моя страстная любовь к живописи. С его живописи началось пробуждение во мне, двенадцатилетнем

подростке, чувственности. Его «Маха одетая» и «Маха обнаженная» вызвали мои первые эротические сны. Герцогиня Альба терзала мое воображение и тревожила мой сон много лет, и даже сейчас, на склоне моего пребывания на этой Земле, она то и дело появляется в моих снах и манит… в Испанию. Была еще одна картина Гойи, которая врезалась в мою память навсегда: «Третье мая 1808 года». Прямо сейчас, сидя в бизнес-лаунже терминала «В» аэропорта Шереметьево в ожидании приглашения на посадку в Симферополь, я вижу раскинутые руки, белки глаз и оскал расстреливаемых наполеоновскими солдатами испанцев-сопротивленцев – «гверильи». И знаю, что никогда не видел и не увижу ни одной картины, столь невыносимо громко кричащей об ужасе войны, как «Герника» – картины Пикассо, еще одного испанца.

Словом, Испания с самого детства не оставляла меня. Когда я решил снимать документальный фильм «В поисках Дон Кихота», – не представлял себе, с каким чувством разочарования я завершу его. По сей день считаю, что это самый слабый мой фильм. Подчеркиваю: мой. Потому что съемочная группа, как всегда, работала безупречно. Но мне не удалось проникнуть в суть Испании, не удалось показать ее особый цвет и запах, ее тайну. Осталось чувство неудовлетворенности, досады. Что было, то было, уже ничего не поделаешь, но возвращаясь к испанскому опыту с помощью этой «тетради», я постараюсь передать то, что мне не удалось передать в своем фильме.

Алекс де ла Иглесиа

Из всех людей, которых я встретил и с кем говорил в Испании, наибольшим сходством с Дон Кихотом обладал кинорежиссер Алекс де ла Иглесиа. Если он прав, утверждая, что на самом деле Дон Кихот и Санчо Панса – один человек и что этот человек и есть Испанец (пишу с заглавной намеренно, речь идет об образе собирательном), – то он говорит о себе. Его стремление, с одной стороны, к созданию «величайшего кинофильма» и вместе с тем, с другой стороны, его убеждение в том, что достижение такой цели невозможно и стремиться к этому глупо, – это и есть воедино соединенные Дон Кихот и Санчо Панса: уверенность, что нет ничего невозможного, и в то же время уверенность, что ничего такого добиться нельзя. Де Иглесиа говорит, что это и есть испанец. Потом, подумав, добавляет, что эти два начала есть в каждом человеке. В определенной степени я согласен с ним, но только в определенной.

Если в американце Дон Кихот существует в значительной степени – мол, нет ничего невозможного! – то Санчо Пансы в нем почти что и нет. У русского, как мне кажется, все ровно наоборот: все бесполезно, нечего стараться, а тот, кто так не считает и пытается что-то делать, на самом деле борется с ветряными мельницами.

Русская литература буквально кишит Пансами (не в смысле социального происхождения или внешности) при почти полном отсутствии Кихотов. Пожалуй, могу вспомнить только одного: князья Мышкина, которого Достоевский называет «идиотом»…

Вообще же этот широко распространенный в России взгляд, что все бесполезно, что «хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь х-й», – существует очень давно. С чем он связан, судить не берусь, но абсолютно уверен в том, что такая жизненная позиция представляет собой тяжелейшие путы, которые мешают

России двигаться вперед. Объяснение отказа от той или иной деятельности (например, от участия в голосовании) доводом, что, мол, это бесполезно, ничего из этого не выйдет, «они» (кто точно, не говорится, но всегда имеется в виду власть) все равно сделают так, как хотят, – в этом нет ни капли «кихотизма», зато «панчоизмом» прямо разит.

Пока сеньор де ла Иглесиа размышлял вслух о том, кто такие испанцы и что есть «испанскость», я искал русские – именно русские, а не российские – параллели. Привожу несколько его высказываний.

«*Быть испанцем – это смеяться в лицо невзгодам*». Русский не смеется в лицо невзгодам. Русский молча терпит их, принимая почти как неизбежность (наступает момент, когда терпение лопается с самыми страшными последствиями, приводящими чаще всего к еще бóльшим невзгодам, но это уже другая тема).

«Единственный способ увидеть себя – поглядеть в кривое зеркало». А вот это похоже, если в качестве кривого зеркала иметь в виду анекдоты. Ведь все анекдоты о чукчах вовсе не о чукчах, они придуманы русскими, которые таким способом смеются над собой.

– *«Мы обожаем юмор, но черный, не белый. Мы по-настоящему смеемся над тем, над чем смеяться нельзя. На похоронах. Над тем, что бабушка свалилась с лестницы. Черный юмор позволяет нам быть самими собой, не притворяться».* Без комментариев. Хотя комментарии очень просятся.

– *«У Гойи в серии «Капричос» есть картина: два мужика, по колено утонувшие в жиже, палками лупят друг друга насмерть. Это и есть Испания».* А Россия? Разве на протяжении всей своей истории она не раздираема надвое? Разве не насмерть лупили и лупят друг друга ее «славянофилы» и «западники», «патриоты» и «демократы», «государственники» и «либералы»?

– *«Испания – это карикатура на саму себя».* Эти слова я запомнил надолго. И не потому, что они относятся к Испании.

Если вдуматься, то между Испанией и Россией удивительно много общего. Обе являют собой край Европы, одна – западный, другая – восточный. Оба народа долгие столетия находились под гнетом чужих завоевателей: испанцы – мавров, русские – монголов. В истории каждой из них формирующую роль играли

(почти в одно и то же время) два тирана, деятельность которых остановила надолго движение в сторону Возрождения и демократии: в Испании – Филипп II, в России – Иван IV. Обе страны были раздираемы гражданскими войнами, приведшими к власти душегубов и палачей: в Испании – Франциско Франко, в России – Иосифа Сталина. И до сегодняшнего дня в обеих странах люди продолжают делить друг друга на условных «красных» и «белых».

Сусана Гарсиа

Она хозяйка дома, в котором жил и работал Сервантес. Водит экскурсии, рассказывает о том, как скромно (я бы даже сказал – аскетично) жил великий писатель. Смотрит испытующе: вам в самом деле интересно, или вы пришли проформы ради? В зависимости от впечатления либо довольно быстро и сухо заканчивает рассказ, либо…

Она испытующе посмотрела мне в глаза и спросила:

– Вы помните, что написал Сервантес, представляя свою книгу читателю?

– К сожалению, нет, не помню.

– А я напомню вам. Он рассказывает о том, как однажды пошел на базар и увидел продавца шелка, который заворачивал товар в листы рукописи, написанной на арабском языке. Сервантес купил эту рукопись за бесценок, принес домой и передал мавру для перевода. Это и оказалось рукописью «Дон Кихота». Поняли?

Я кивнул: мол, понял.

– Как вы думаете, для чего Сервантес придумал эту историю? А для того, – сказала она, не дождавшись моих соображений, – чтобы власть поняла, что он к авторству этой книги не имеет никакого отношения. Но это не все. Сам автор с самого начала сообщает нам, что его герой, Дон Кихот Ламанчский, страдает безумием. Он говорит всем и каждому, в том числе святой инквизиции: не обращайте внимания на то, что говорит этот человек, он – безумец. Сервантес таким образом дважды «отказывается» от Дон Кихота: не он писал, и герой – сумасшедший. Понимаете?

Да, понимаю. И поняв, еще раз поразился тому, насколько сильные мира сего опасались писателей и какая же сила заключена в фиксированных на бумаге словах. Можно прочертить совершенно прямую линию от Новикова и Радищева до Кольцова и Булгакова. Можно провести не менее прямую линию от

инквизиции Торквемады – через ЧК Дзержинского – и прямиком к торжественному сжиганию книг в нацистской Германии, организованному Геббельсом. Для них писатель был личностью опасной, не только развращающей мозги, но и, что хуже, будящей их, заставляющей людей думать и, следовательно, сомневаться.

Нет большего памятника силе написанного слова, нет большего подтверждения опасения этого слова со стороны власти, в особенности репрессивной, – чем советский самиздат. Вдумайтесь: человека могли отправить в лагерь, посадить в тюрьму, запихнуть в «психушку», наконец, расстрелять за то лишь, что он перепечатывал в шести экземплярах (машинка больше не брала) какой-то текст, например «1984» Джорджа Оруэлла. Но это было в «просвещенном» XX веке. А что могли сотворить с неугодным автором и тайным читателем его произведений веке в XVI–XVII?

Сервантес объявил Дон Кихота безумцем, чтобы его слова, полные справедливого гнева, всерьез не принимались властью – как светской, так и религиозной.

Радищева сама Екатерина II объявила сумасшедшим за «Путешествие из Петербурга в Москву». Разве можно было простить человеку слова: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Не догадался Александр Николаевич написать, что эти слова принадлежали полоумному шуту.

Да и сообрази Петр Яковлевич Чаадаев написать, что рукопись «Философических писем» он обнаружил у иноземного торговца на базаре, не объявил бы его сумасшедшим Николай I.

Возвращаюсь к сказанному: поразительно, как боится власть, в особенности репрессивная, написанного слова. Ведь читают не все, читает меньшинство, а уж книги, такие как «Дон Кихот», на самом деле читают немногие (точнее, единицы); в XVI веке грамотных можно было сосчитать на пальцах одной руки… ну,

ладно, преувеличил, но таковых было крайне мало. Народ читать такие произведения не мог. Но мудрый Сервантес на всякий случай отрекся от какого-либо авторства этой книги, написанной никому не известным арабом. Тогда, пять веков тому назад, ему это удалось. Сегодня, когда хай-тек легко проникает даже в наши самые интимные тайны, никаких шансов у него не было бы.

Педро Гарсиа Бильбао

– Мы – центр мира, но мир не понимает нас. Бог – испанец.

Так говорит, иронически улыбаясь, этот доктор политологии и социологии.

– Гордыня, спесь, бесплодное тщеславие – это все, что осталось от великого прошлого, – продолжает он, излагая то, что он считает характерным для состояния нынешнего испанского ума.

Его слова ничего не напоминают вам? Не слышите в них что-то не просто знакомое, но почти родное? Нет?

А мне напоминает. 1510 год. Монах Филофей пишет своему единоверцу послание:

«*Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать».*

Ну, чем не центр мира? Разве не очевидно, что Бог – русский? Ну уж, если не русский, то русским благоволит. А то, что мир не понимает нас, – это настолько очевидно, что жаль тратить время на утверждение этой истины. Почему не понимает? Скорее всего потому, что не способен, слишком приземлен, слишком на себе сосредоточен, слишком далек от духовности, которой нас одарил Бог.

Лично меня поразила схожесть между русскими и испанцами при всей их непохожести во всем внешнем. Но более того, это чувство высокомерия, чванливости, превосходства по отношению ко всем остальным в сочетании с комплексом неполноценности. Как сказал мне Алекс де ла Иглесиа, «Испания – это карикатура

на саму себя». Что до уничижительных оценок русскими по отношению к России и к себе самим, приведу лишь три:

> «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека – он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами».
>
> *Академик И. П. Павлов.*
>
> *О русском уме. 1932 г.*
>
> «Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли».
>
> *Александр Пушкин*
>
> «Россия – самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…».
>
> *И. А. Ильин (1882–1954),*
>
> *русский философ*

Я неоднократно был свидетелем примерно такого разговора между двумя представителями великого русского народа:

– Слушай, мы летом отдыхали в таком крутом месте, не поверишь!

– А что было такого крутого?

– А то, что не было ни одного русского!

Почему русские так не любят друг друга?

* * *

Я уже говорил, что поражаюсь тому, как похожи друг на друга испанцы и русские. Я вновь подумал об этом, когда сеньор

Бильбао, тяжело вздохнув, сказал мне: «Мы, испанцы, еще не сумели выбрать концепцию своей страны».

У французов нет в этом сомнений, они давно решили этот вопрос. Как англичане, американцы и даже итальянцы и немцы, несмотря на относительную молодость государственности их стран.

А русские – не россияне – русские, несмотря на солидный возраст их страны, до сих пор не могут определиться. Хотел бы высказаться по поводу понятия «россияне» и спросить: кто они такие? Что объединяет их? Язык? Нет. Религия? Нет. Культура? Нет. Так что же? Территория. Россиянин – это не национальность, это всего-навсего человек, живущий в России. Довольно зыбкая штука. Если допустить – не дай, конечно, бог – что завтра из состава Российской Федерации выйдет, например, Дагестан, то все его жители разом перестанут быть россиянами. Но они останутся дагестанцами. Русские же останутся русскими в любых обстоятельствах, если, конечно, не исчезнет Россия.

Европейцы мы или нет? Скифы мы, азиаты, «с раскосыми и жадными очами»[4]? Западники? Почвенники? Демократия нам нужна или жесткая рука? Свобода лучше несвободы, или все-таки лучше несвобода, когда за нас решает хозяин? Умом и в самом деле Россию не понять[5]? Или очень даже понять, да понимать не очень хочется?

И последний вопрос: мы когда-нибудь сойдемся на том, кто мы?

Ахмед Бермехо

Мавры высадились в районе нынешнего Гибралтара в самом начале VII века. Высадились и с необыкновенной легкостью завоевали весь Иберийский полуостров… почти. На самом севере оставили в покое маленькое королевство Астуриа и, как показала история, расслабились совершенно напрасно. Астуриа стала местом, откуда пошла Реконкиста[6]. Если бы мавры захватили ее с самого начала, вполне возможно, что самая западная часть Европы была бы мусульманской страной. Есть о чем подумать…

Когда высадились мавры, никаких испанцев не было, были визиготы – грубые варвары, которые сами не мылись, но которых омывали два раза за их бытие на земле: при рождении и при погребении.

Важная деталь: мавры-завоеватели приплыли без женщин и, покорив Иберию, брали себе в жены местных женщин, причем брали не по одной – чем выше положение, тем больше гарем. Имам мечети в Гранаде, Ахмед Бермехо, не без иронии говорит: «Это мы, мавры, мусульмане, создали испанцев, без нас их не было бы вовсе».

И я невольно думаю: а какими были бы русские, если бы они не находились под монголами почти триста лет? В какой степени это иго сформировало русский характер, русский менталитет? В отличие от испанцев, которых и не было в начале VII века, русские-то уже были при монгольском нашествии в первой трети

XIII века. Говоря о роли ига в формировании русских, проще всего сослаться на «поговорку»: «поскреби русского, найдешь татарина»; на самом же деле это, во-первых, не поговорка (поэтому слово взято мной в кавычки) и, во-вторых, происхождения не русского. Судя по всему, автором этого высказывания был маркиз де Кюстин, французский аристократ, приехавший в Россию в надежде найти там доказательство превосходства самодержавия над демократией. Он горько разочаровался, вследствие чего написал книгу «Россия в 1839 году», которая сразу же была денонсирована как верх русофобства, каковой она в определенных кругах продолжает считаться сегодня. Книга была запрещена к изданию как в царской России, так и в СССР. Книга, конечно, едкая и злобная, но в ней много правды.

Что до «татарского нутра всякого русского», то у де Кюстина это выглядит так:

«Ведь немногим больше ста лет тому назад они (русские. – В.П.) *были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится».*

Мавры не только создали испанцев, они принесли с собой рафинированную культуру, искусство, медицину, науку, они построили поразительной красоты мечети, они относились совершенно толерантно к «иноверцам», в данном случае к католикам и иудеям.

Монголы не создали русских, но внесли свою лепту в формирование национального характера, в то, что стало модным называть менталитетом.

По-моему, точнее и страшнее всего сказал об этом Александр Блок:

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!

В самом конце нашей встречи сеньор Бермехо сказал:

– Самое популярное имя в Испании – Марк. А на втором месте – Мохаммед.

Я вопросительно посмотрел на него, и он, улыбнувшись, сказал:

– «Идет Перереконкиста».

Абдул-Алим Молинеро Гарсия

Ислам царил в Иберии 790 лет (!). Царствование это завершилось 2 января 1492 года, когда под ударами католического войска пал Гранадский эмират. К власти пришли Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская, которых Папа Александр VI (Борджиа) нарек «католическими королями».

Этот год – 1492-й – стоит особняком в истории.

Изгнание ислама с Иберийского полуострова – первое решительное поражение Зеленого знамени. Закрепись там мавры, кто знает, какой стала бы Европа. И несмотря на рождение в самом конце XIII века Османской империи, просуществовавшей без малого семь веков, поражение 1492 года нанесло исламскому миру удар, от которого ему так и не было суждено оправиться.

В 1492 году Изабелла подписала разрешение Христофору Колумбу отправиться в плавание, чтобы открыть путь в Индию. Последствия этого плавания – открытие Америки – невозможно переоценить, но следует помнить, что Изабелла была озабочена не географическими открытиями: она надеялась, что Колумб, совершив плавание вокруг Земли, откроет путь католическим войскам, которые, воспользовавшись этим, ударят «неверным» в тыл и, соединившись со своими единоверцами, наступавшими с Запада, раздавят их и сметут с лица земли. В отличие от своего мужа Фердинанда, занимавшегося сугубо военными делами, Изабелла была идеологом, и для нее не было ничего важнее и выше торжества католической веры.

Абдул-Алим Молинеро Гарсия – основатель исламской общины в Испании – поведал мне любопытную историю. Святая инквизиция получила право действовать в Испании благодаря тому, что Изабелла обратилась к Папе Сикст IV с просьбой разрешить ей таким образом выявлять «ложных католиков», то

есть иудеев и мусульман, формально принявших католицизм, но втайне исповедующих свою религию. В 1492 году Великий инквизитор, доминиканец Томас де Торквемада, настоял на том, чтобы Изабелла приняла решение об изгнании с Пиренейского полуострова всех евреев, не принявших католицизм. На это им было дано четыре месяца. Так, по сути дела, начался второй исход евреев, последствия которого трудно оценить[7].

Еще через 10 лет был принят такой же указ в отношении мусульман. Тут есть два достойных внимания момента. Первый – это то, что Торквемада сам был из семьи выкрестов и, видимо, пылал особой ненавистью к евреям, которые несмотря ни на что оставались преданными своей вере. Второй, говорит Молинеро Гарсия, – это то, что инквизиция отбросила Испанию далеко назад, она сильно отстала от других стран Европы, была лишена Возрождения, гораздо позже и с гораздо большей кровью пришла к демократии.

Я, конечно, не стал бы проводить прямую параллель между испанской инквизицией и русской опричниной, между Торквемадой и Малютой Скуратовым, но то, что Грозный и его опричнина отбросили Россию на много десятилетий, а то и столетий назад, потопив в крови ростки Возрождения и демократии[8], – для меня очевидно.

Хамон

Ах, хамон иберико, ах, пата негра, таящая во рту сыровяленая вкуснятина! Больше нигде в мире нет такой вкусной ветчины! Это вам подтвердит любой испанец, это, скажет он, наше достижение, наша гордость, в хамоне наша душа!

Разве? А известна ли вам, достопочтимый кабальеро, роль хамона в качестве орудия инквизиции? Нет? Не может быть, говорите вы? Очень даже может.

Главной задачей инквизиции в Испании было выявлять, как я уже писал, «ложных католиков». А как это сделать? Есть разные способы, например пытки, поощрение доносов, подкуп слуг. И хотя все это годится – в конце-то концов, для выявления неверных все способы хороши, – остаются сомнения. А вдруг выдержит пытки неверный, отобьет донос. Что тогда? Думали, думали и придумали.

Известно, что ни правоверный еврей, ни истинный мусульман не прикоснется к свинине. Лучше умрет, чем съест.

А если во время принятия католической веры вместе с облаткой и вином давать новоиспеченному единоверцу кусочек хамона? Гениально! Съест – значит, он и в самом деле отрекся от ереси. А вот если нет… А если еще потребовать, чтобы по определенным дням люди католической веры вывешивали перед

своими домами свиную ножку…

Когда вы в следующий раз закажете хамон, не забывайте о его зловещем применении. Может быть, откажетесь. Или меньше съедите. Ведь свинина, даже горная, не слишком полезна.

Роджер Альбиньяна

Сей господин – секретарь по иностранным делам правительства Каталонии. Я – иностранец, так что он встречается со мной в рамках своей должности. Его задача – убедить меня в том, что Каталония должна отделиться от Испании, стать независимым государством. Убеждал меня не только он, убеждали самые разные люди, с которыми я говорил: актер Джоэль Джоан, писатель Жорди Бильбань, фермер Энрик Касасайас. Доводы примерно такие:

– Каталония имела свой парламент еще в XIV веке, когда не существовало никакого испанского государства.

– Каталония вовсе не желала быть в составе Испании, ее принудили силой в результате кровопролитной войны.

– Если собаку держать на привязи, она всегда будет рваться прочь, к свободе.

– Человек хочет жить в своем доме так, как хочет. Если он хочет войти в ботинках, то входит, ему не нравится, чтобы кто-то указывал ему – снимать ботинки, не снимать, куда класть штаны и так далее.

– Испанцы – бюрократы, жиреющие за счет работящей и поэтому богатой Каталонии.

– И вообще: Иисус Христос был каталонцем.

Можно пройтись по каждому из этих аргументов, но куда интересней подумать над тем, откуда берется это стремление выйти из состава страны, частью которой люди были в течение веков? При этом я не имею в виду колонию, ждущую момента, когда она сможет вырваться из-под имперского ярма. Это-то как раз не только естественное стремление, оно неизбежно, как неизбежен распад любой империи, будь то Римская или советская.

Речь о другом. Квебек – Канада, Бретань – Франция, Чечня – Россия, Косово – Сербия, Абхазия – Грузия, Каталония – Испания, Шотландия – Великобритания. Как мне кажется, стремление к «независимости» практически во всех случаях связано с очевидным, казалось бы, обстоятельством: во всех перечисленных

мною случаях по тем или иным причинам представителей этих, условно говоря, стран третировали и унижали: по линии языка (запрет на изучение в школе, отказ в признании его государственным), по доступу к высшему образованию и к определенным и престижным должностям, по множеству мелких и не мелких бытовых и не бытовых поводов. Я не говорю о вещах, значительно более глубоко затрагивающих национальную память (например, о массовой депортации чеченцев в 1944 году).

Любопытно, что добились своего только две страны: Косово и Абхазия, но только получившие военную помощь извне: Косово – от США, Абхазия – от России. В их «независимости» (кавычки использованы мной вполне преднамеренно) были заинтересованы другие государства: уход Косово – удар по не желающей подчиняться американской политике Сербии; уход Абхазии – удар по Грузии, повернувшейся лицом к Западу и стремящейся в НАТО. Ни жители Квебека, ни шотландцы, ни каталонцы, предоставленные самим себе, не совершали бы этого шага.

Вряд ли найдется квебекианец, который на вопрос «вы – канадец?», ответит утвердительно. Но на первенстве мира по хоккею с шайбой он будет страстно болеть за сборную Канады. Шотландец всегда с гордостью подчеркнет свое «шотландство», но будет отчаянно болеть за сборную Великобритании по футболу. «Каталонец я, не испанец!», слышал я неоднократно, будучи в Барселоне, но попробуйте сказать ему, что сборная Германии играет лучше сборной Испании.

Чувство принадлежности, национальной гордости – одно из самых сложных, оно на самом деле трудно поддается описанию, оно не передается с генами (русский ребенок, родившийся во Франции от родителей-эмигрантов, лишен этого чувства применительно к России), но тем не менее обладает огромной силой и часто используется властью для решения вопросов, которые не имеют оправдания.

«Ла Педрера»

Однажды – мне было лет семь – я спросил своего отца, что такое гений. Чуть подумав, он сказал:

– Жил-был мальчик. Звали его Карл Гаусс. Родился он в Германии в XVIII веке. Когда ему исполнилось шесть лет, его отправили, как и тебя, в школу. В классе было человек 30 таких же оболтусов, был всего один учитель, который учил их читать, писать и считать, и ему они сильно надоели. Однажды учитель нашел интересную книгу. «Как бы мне занять этих оболтусов, чтобы они тихо сидели и не мешали бы мне читать?», – подумал он. И придумал: «Дети, – сказал он, – сложите все цифры от единицы до ста. Кто первый получит ответ, того ждет награда». И сел читать. Не прошло и двух минут, как он увидел поднятую руку маленького Гаусса. «Тебе что, Карл, надо в туалет?» – спросил он. «Нет, господин учитель, у меня есть ответ», – сказал мальчик. «Что же получилось у тебя?» – спросил учитель, который и сам-то и не знал, сколько должно получиться. «Пять тысяч пятьдесят», – ответил Гаусс. «И как это получилось у тебя?» – полюбопытствовал учитель. «Очень просто, – ответил Гаусс. – Представьте все числа от одного до ста не столбиком, а линейкой. Возьмите две крайние цифры – один и сто – и сложите их. Получится сто один. Сложите следующие за ними две цифры, два и девяносто девять. Будет снова сто один. Потом три и девяносто семь – сто один. Получается пятьдесят раз по сто одному – равняется пять тысяч пятьдесят».

– И учитель понял, что перед ним гений, – сказал мой отец. – Гений тот, кто видит все не так, как остальные.

Я запомнил этот рассказ отца на всю жизнь. И он снова вспомнился, когда я стоял в Барселоне перед домом «Ла Педрера» гениального испанского архитектора Антонио Гауди. Он видел не так, как другие.

Я не стану описывать «Ла Педрера», равно как и другие творения Гауди. Во-первых, я не сумею. Во-вторых, это

бессмысленно. Архитектуру, скульптуру, живопись надо видеть, музыку надо слышать.

«Ла Педрера» сначала не приняли, требовали сноса этого дома, который «нарушал правила». То, что нам непонятно, то, что противоречит нашим принятым нормам и представлениям, мы отвергаем, а порой и уничтожаем.

Этим мы отличаемся от гениев.

Кастельеры

Представьте себе: несколько сот человек собираются вместе и, строя этаж за этажом, возводят живую башню высотой с десятиэтажный дом. У основания башня широкая и, поднимаясь вверх, постепенно сужается, венчает же ее одиноко стоящий пятилетний ребенок, мальчик или девочка. На это невозможно смотреть, не затаив дыхание, это какой-то вызов, брошенный закону всемирного тяготения.

Говорят, что когда-то, в Средние века, так брали крепостные стены, оттуда название самой башни – кастель[9] – и тех, кто строит ее, – кастельеры. Время крепостей давно минуло, но кастельеры приезжают со всей Каталонии, чтобы в праздничный день возвести перед изумленным миром свои кастели.

Что это? Неодолимое стремление человека доказать самому себе, что он может все, а потом и еще немножко?

В стародавние времена, когда в Каталонии принимали нового короля, это выглядело так: Юстиций – лицо, специально выбранное для этой церемонии, – сидя на троне, говорил стоящему перед ним на коленях кандидату в короли:

– Мы, которые столь же хороши, как и ты, клянемся тебе, кто не лучше нас, признать тебя нашим королем и сюзереном при условии, что ты примешь все наши свободы и законы, но если нет – то нет.

В этих словах заключены гордость, чувство собственного достоинства, жажда свободы, все то, что, с моей точки зрения, делает человека Человеком. Особенно свобода.

Человек неосознанно всегда стремится к свободе, но именно неосознанно, не отдавая себя отчета об обязательствах, которые свобода накладывает. Быть свободным на самом деле гораздо труднее, чем быть рабом. От свободного человека требуется ответственность, раб же самый безответственный из всех людей:

за него отвечает хозяин, раб лишь выполняет его волю.

В России сегодня довольно популярно мнение, что русскому человеку никакая свобода не нужна, что демократия – вздор, что русскому нужна «твердая рука», которая освободит его от хлопот и сама решит, как ему жить.

Мы не замечаем, как современные технологии, такие как Big Data, Facebook, Apple, Google, смартфоны, Amazon постепенно лишают нас свободы, лишают нас не только умения, но и желания самим решать свои проблемы, как они «взламывают» нас, получают доступ к нашим самым тайным желаниям, к нашим самым интимным сведениям и, получив этот доступ, начинают управлять нами.

Рождается новый тип рабства.

Но человек не может жить без свободы, без выражения своего «я».

Кастельеры тому доказательство.

Фламенко

Мне было лет десять, когда я впервые услышал фламенко. Именно так: услышал. Кто-то подарил мне двойной альбом Songs and Melodies of the World («Песни и мелодии мира»), который я стал слушать на подаренном же мне на дне рождения проигрывателе. Слушал с интересом, но без особых переживаний, и вдруг… резкий, горловой, рвущийся куда-то голос и гитарный перебор, какой-то неповторимый и неуловимый ритм. Потом хлопки, то плоские, то гулкие, и дробь каблуков. На обложке альбома против этой вещи было написано: Flamenco. И все. Так зовут исполнителя-певца? Гитариста? Когда я спросил отца, кто такой Фламенко, он, усмехнувшись, ответил, что не кто, а что: фламенко, сказал он, это танец.

Много лет спустя, будучи в Севилье, я, наконец, увидел фламенко и понял, что отец был прав, но не совсем. Потому что фламенко – это не танец, это не песня, это не игра на гитаре, это слияние воедино всего этого.

Описать не берусь. Скажу только, что фламенко – это всегда про печаль, всегда про любовь, всегда про смерть. И еще скажу, что кроме испанских цыган, никому не дано исполнять фламенко.

Что это за таинственный народ, цыгане? Почему он так занимал Пушкина («Цыгане»), Толстого («Живой труп»), Мериме и Бизе («Кармен»)? Ну, хорошо, для русской интеллигенции цыган являл собой олицетворение воли в душном царском обществе. А для французской? Нет объяснения.

А почему для Гитлера полное уничтожение всех цыган было не менее принципиальной задачей, чем «окончательное решение еврейского вопроса»?

Может быть, дело в вызове? В готовности отдать жизнь, но не отказаться от своих традиций, норм?

Мне пришлось побывать на юбилеях людей весьма обеспеченных и влиятельных в России, куда в качестве развлечения приглашались цыгане. Каждый раз я ощущал острое чувство неловкости, потому что это была «игра в цыган» со всеми

этими «пейдоднапейдоднапейдодна», лихой, но совершенно лишенной нутра игрой на скрипках, гитарах и аккордеоне. «Интересно, что думают об этой публике эти цыгане, – думал я, – презирают? Рассматривают исключительно как лохов, с которых можно содрать бабло?».

Зайдите в таблао[10] в Мадриде, в Севилье, в Гранаде. Цыгане исполняют фламенко для себя, да-да, для себя. Если вы готовы заплатить им за это, то спасибо, но не более того. Главное – какое у вас лицо, какие глаза после каждого фламенко, главное, дошла ли до вас эта древняя и нескончаемая история. Если дошла – значит, ты свой, ты друг. А если нет – что же, значит, ты не поцелован Богом, тебя можно только пожалеть.

Алькасар

Алькасар по-испански значит крепость. На самом деле это слово арабское, как практически все слова, которые начинаются на «ал»: алгебра, алкоголь, алгоритм и так далее. Таких крепостей разбросано по Испании множество. Но эта, в городе Толедо, имеет особую историю. В 1936 году, когда Франко возглавил военный мятеж и объявил себя лидером нации, его сторонники, в основном военные, захватили алькасар. В течение семидесяти двух дней республиканцы тщетно пытались их выбить, а на семьдесят третий подошли преданные Франко вооруженные силы и устроили в Толедо кровавую баню. Говорят, река Тахо стала красной от крови.

Человек, рассказавший мне эту историю, – противник Франко. Когда я заметил, что защитники алькасара, выдержавшие семьдесят два дня осады, проявили героизм, он взорвался:

– Какой еще героизм?! Это же фалангисты, фашисты…

Интересный вопрос. Героизм имеет моральную окраску? Может ли быть фашист героем?

Помню, после выхода фильма «Девятая рота» у меня возник спор с приятелем-афганцем, который, как многие ветераны этой войны, не выносит критику как самой этой войны, так и ее советских участников.

– Интересно получается, – говорю ему я, – Брежнев и компания решили захватить Афганистан, для чего направили в эту страну «ограниченный контингент войск». Выходит, Советский Союз был агрессором. Не Афганистан напал на СССР, а СССР вторгся в Афганистан. Вы, советские солдаты, не защищали свою родину, свой дом от иностранного агрессора, а напротив, сами оказались в этой роли. Но в этом фильме советские солдаты показаны как героические бойцы, совершающие подвиги, а афганцы-моджахеды представлены как фанатичные злодеи, которых вы, доблестные бойцы, укладываете штабелями. Так я спрашиваю, кто герои: вы, агрессоры, или они, защитники своей страны?

Тут последовали возмущенные, приправленные отборным матом возражения, что, мол, никакими мы не были агрессорами, афганское руководство неоднократно просило советское руководство о военной помощи, мы выполняли свой интернациональный долг, – словом, весь этот набивший оскомину набор вздора. Достаточно вспомнить, что «афганское

руководство» в лице Хафизуллы Амина было убито бойцами группы «Альфа», закатано в ковер и вынесено неизвестно куда. Убит был и его сын, так что с интернациональным долгом что-то не очень…

Но это я отвлекся.

Возвращаюсь к изначальному вопросу: героический поступок является таковым независимо ни от чего?

Пример. Советский солдат подбивает три «тигра» вермахта, тем самым останавливая на время наступление врага и спасая жизнь пятидесяти русским женщинам и детям, успевшим сбежать из своих деревенских жилищ. Герой?

Другой пример. Немецкий солдат подбивает три советских Т-34, тем самым останавливая на время наступление врага и спасая жизнь пятидесяти немецким женщинам и детям, успевшим сбежать их своих деревенских жилищ. Герой?

Я уже слышу ответ: первый – герой для советских, второй – для немцев. Ответ не принимается, хотя это, конечно, так. Но первый защищал свой дом от напавшего на него агрессора, второй же защищал свой дом от жертвы агрессора, который сумел взять верх. Они оба одинаково герои?

Еще пример. Человек, рискуя жизнью, вынес из горящего дома старика-инвалида и годовалого ребенка. Он герой? Безусловно. Но оказалось, что накануне он изнасиловал четырнадцатилетнюю девушку. Он по-прежнему герой?

Короче: герой в обязательном порядке предполагает наличие определенного морального компонента или не предполагает?

Хайме Алонсо

Сеньор Алонсо – вице-президент Национального фонда Франциско Франко. Когда я сказал, что собираюсь взять интервью у этого человека и назвал его должность, никто из присутствующих испанцев не дрогнул. Я с трудом удержался от того, чтобы спросить их, как бы они отнеслись к существованию в Германии Национального фонда Адольфа Гитлера? Или Бенито Муссолини в Италии? Или, наконец, Иосифа Сталина в России?

Кто-нибудь может объяснить мне, почему так тяжело, так нехотя расстаются с верой в своих лидеров-кумиров, почему так сопротивляются правде об их злодеяниях?

Я помню, как в 1956 году нам, студентам биофака Московского государственного университета, читали доклад Никиты Сергеевича Хрущева, который он представил XX Съезду КПСС. Осуждение «культа личности И. В. Сталина» прозвучало почти для всех, как гром среди ясного неба. Но не для меня. К этому времени я уже полтора года был близко знаком с Иосифом Давидовичем Гордоном и его супругой Ниной Павловной (они жили в нашей квартире, пока мои родители были в загранкомандировке). Гордон, вернувшийся в СССР из эмиграции 1936 году, был арестован в 1937-м и осужден как английский шпион. Он был приговорен к 25 годам лагерей. Нина Павловна, работавшая в объединении «Жургаз» в качестве личного секретаря Михаила Кольцова[11], хлебнула горя сверх меры.

Иосиф Давидович был реабилитирован в 1954 году и, пока они с Ниной Павловной жили у нас, я имел возможность узнать о ГУЛАГе самым подробным образом не только от них, но и от множества их реабилитированных друзей, в частности, Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой. Поэтому «разоблачение культа личности И. В. Сталина», особенно в той части, которая касалась

репрессий, ничем меня не удивило. Однако я хорошо помню реакцию многих моих сокурсников, да и не только сокурсников: слезы отчаяния, неприятие, истерика – все это было. Помню, как студентка-активистка, комсомольский лидер, организатор агитпоходов и агитбригад, ленинский стипендиат, знавшая о моем отношении к Сталину, с ненавистью кричала мне: «Ну, что, рад, да?!».

Герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор» прославился фразой “I’ll be back”[12], но это художественная выдумка. В случае со Сталиным все обстоит вполне реалистично. Правда, я не знаю, каким было его последнее изречение, но «я вернусь» говорило бы о безусловном даре «отца народов» в области предвидения. Сегодня, когда я пишу эти слова, Сталин, осужденный шестьдесят с лишним лет тому назад и тогда не пользовавшийся ни уважением, ни симпатией подавляющего большинства россиян, вновь стал объектом преклонения большинства (если, конечно, верить данным опросов общественного мнения). Замечательно то, что восхваляют этого палача люди, родившиеся через много лет после его смерти, люди, не испытавшие ни страха, ни ужаса сталинских времен.

Лично меня начинает подташнивать, когда я слышу аргументы в пользу Сталина, сумевшего «превратить СССР в индустриальную державу, без чего мы проиграли бы немцам войну». По этому поводу хотелось бы поделиться двумя соображениями.

Первое. Такими, с позволениям сказать, «доводами» защищают всех диктаторов: Гитлер построил для Германии великолепные автомобильные дороги и решил проблему безработицы, Муссолини одолел мафию и коррупцию в Италии, Франко вернул стране порядок и благосостояние.

Второе. Хорошо бы поставить вопрос – а потом на него ответить – какой ценой добились они этого? Во что это обошлось вышеупомянутым (и другим) странам не только в отношении конкретных уничтоженных людей, но и в смысле развращения общества, разгула предательства, стукачества?

Четыре всадника Апокалипсиса XX века никуда не делись. До сих пор они занимают место в национальном самосознании. В Риме не преминут показать вам балкон, с которого выступал дуче, и повезут на экскурсию в Эур, по замыслу Муссолини – образец будущего фашистского города. В Германии то и дело напомнят вам о фюрере, о его «Тысячелетнем рейхе», скорее, напомнят шепотом, а то можно нарваться на соответствующие запреты и Уголовный кодекс, – но напомнят. О России не говорю. Недавно моя дочь, которая уже лет 25 живет Германии, приехала ко мне в

гости и, как имеет обыкновение, зашла в один из главных книжных магазинов столицы, чтобы купить для правнука замечательно изданные книжки Маршака и Чуковского. И там, рядом с отделом детских книг, увидела детские пазлы – трехмерные головы разных знаменитостей. И знаете, чью голову она увидела? Правильно, угадали – Сталина. Того самого Сталина, по указанию которого были репрессированы десятки (!) детских писателей.

– Как это может быть? – спросила она меня.

И в самом деле – как? Я позвонил директору книжного магазина и задал тот же вопрос: «Как это может быть?».

Директор, немного смутившись, сказала, что просто не заметила, но что немедленно уберет, что она и сделала, при этом прислала мне фото «до» и «после». Но вот я думал и думаю: почему, кроме моей дочери, не возмутился никто? Не потому ли, в частности, что большинство наших граждан совершенно не в курсе, они не знают ничего или знают очень мало о кровавых делах Сталина и возглавляемой им ВКП(б). А наши дети? Что читают они о Сталине в своих учебниках, с позволения сказать, истории?

И почему так обстоят дела? Не потому ли, что люди, руководящие нашим государством, не хотят, чтобы оглядывались назад, а уж если оглядываться, то только чтобы убедиться в превосходстве России над остальными, а вовсе не для того, чтобы углубиться с историю преступлений, ведь за них в ответе народ, который, по Пушкину, безмолвствует, а должен был бы раскаяться.

И в Испании нет и тени раскаяния. Среди «криминального квартета»[13] дольше всех был у власти Франциско Франко – сорок лет! В отличие от Гитлера и Муссолини он умер своей смертью, и в отличие от Сталина не подвергся разоблачению после смерти. Более того, до сегодняшнего дня существуют две Испании – республиканская и франкистская, до сегодняшнего дня жива гражданская война, не примирилась ни одна из сторон. Франкисты говорят: «Мы победили в войне, почему у власти они, а не мы?». А сторонники республики говорят: «Почему они, преступники, не осуждены, не сидят в тюрьме?».

Франко не вернулся. Он никуда не уходил.

Блас Пиньяр Гутьеррес

Великие мира сего часто стремились оставить после себя памятники. Фараоны – пирамиды, Людовик XIV – Версаль, Иван IV – храм Василия Блаженного, Петр I – целый город, Филипп II – Эскориал. Ничего не могу сказать о Сталине. Может быть, он себя считал бессмертным и поэтому никакой памятник не требовался? Или просто не успел?

Франко успел. Он оставил после себя Долину павших.

Проехав километров 18 из Мадрида в сторону гор Гвадаррамы, увидишь высоко над одной из вершин гигантский крест. Его высота – 150 метров, и чтобы до него доехать, надо проехать еще 40 километров. Он венчает, говоря языком туристических брошюр, мемориальный комплекс «Долина павших».

Победив в гражданской войне, Франко решил увековечить себя и приказал построить грандиозный мемориал, в котором должны были быть погребены те, кто погиб «За Бога и Испанию»: таким был главный лозунг франкистов, и эти слова высечены на входе в усыпальницу Франциско Франко. Работы начались сразу после окончания войны, в 1940 году, и продолжались двадцать лет: мемориал был вырублен в скале руками пленных республиканцев. Сколько их погибло на этом строительстве, не знает никто.

Мемориал оказался настолько громадным, что после помещения в нем останков погибших фалангистов осталось много пустых помещений. Что делать? Франко осенила гениальная мысль: надо там же захоронить останки всех погибших его противников, и таким образом мемориал станет памятником Примирения.

Когда я спросил бравого генерала, ярого поклонника Франко,

хотел ли бы он, чтобы его погибший сын лежал рядом с тем человеком, кто убил его, он ответил:

– Да! Конечно! Это было бы высшим проявлением примирения, единения тех, кто воевали друг против друга! Это верх великодушия! В смерти мы все равны.

А я подумал: что бы ответил его убитый сын-франкист? Что бы сказал убитый франкистом республиканец? Они хотели бы лежать в соседних могилах? Они примирились?

Когда я снимал фильм о Финляндии, то впервые узнал о жесточайшей гражданской войне, имевшей там место после признания 18 декабря 1917 года независимости страны Советом народных комиссаров, возглавляемым Лениным[14]. У меня нет сомнений, что это решение было основано на: (а) понимании невозможности удержать Великое княжество Финляндское с составе СССР и (б) уверенности в том, что «красные финны» сами возьмут власть в свои руки. Первое предположение было правильным, в отличие от второго. Столкновение между белофиннами и красными было жестоким и кровавым, и победили белые. Вслед за победой пошли казни, репрессии и преследования. И как я выяснил, в Финляндии до сих помнят, кто был «за белых» и кто – «за красных». И нет даже тени примирения.

То же можно сказать применительно к России. Отличие заключается в том, что после гражданской войны белых в России оставалось немного: большинство бежало, кто на Запад, кто на Восток. Тех немногих, кто остался в стране рабочих и крестьян, довольно быстро уничтожили. Что касается бежавших, они, за очень редкими исключениями, до конца своих дней не только не примирились с «краснопузыми», но передали своим детям эту ненависть.

Самая кровопролитная война в истории Соединенных Штатов Америки – гражданская война 1861–1865 годов[15], и хотя она закончилась более ста пятидесяти лет тому назад, в сознании южан и янки[16] она продолжает жить. То и дело можно увидеть изображение флага Конфедеративных Штатов Америки на автомобильных номерах, то и дело происходят столкновения между теми, кто желает сохранить памятники генералам-южанам, и теми, кто требуют их сноса.

Нет примирения. И вряд ли оно возможно.

Карлос Осоро Сьерра

Каяться в грехах – дело сугубо религиозное, по крайней мере таким было мое убеждение, пока я не встретился с архиепископом Мадрида, чью фотографию вы видите. В ответ на мои настойчивые вопросы о том, почему в Испании так и не осудили Франко и франкистов, как, например, в Германии осудили Гитлера и нацистов, благообразный padre сказал:

– Те, кто управляют нами, наследники Франко. Мы их потомки. Не можем же мы осуждать своих родителей.

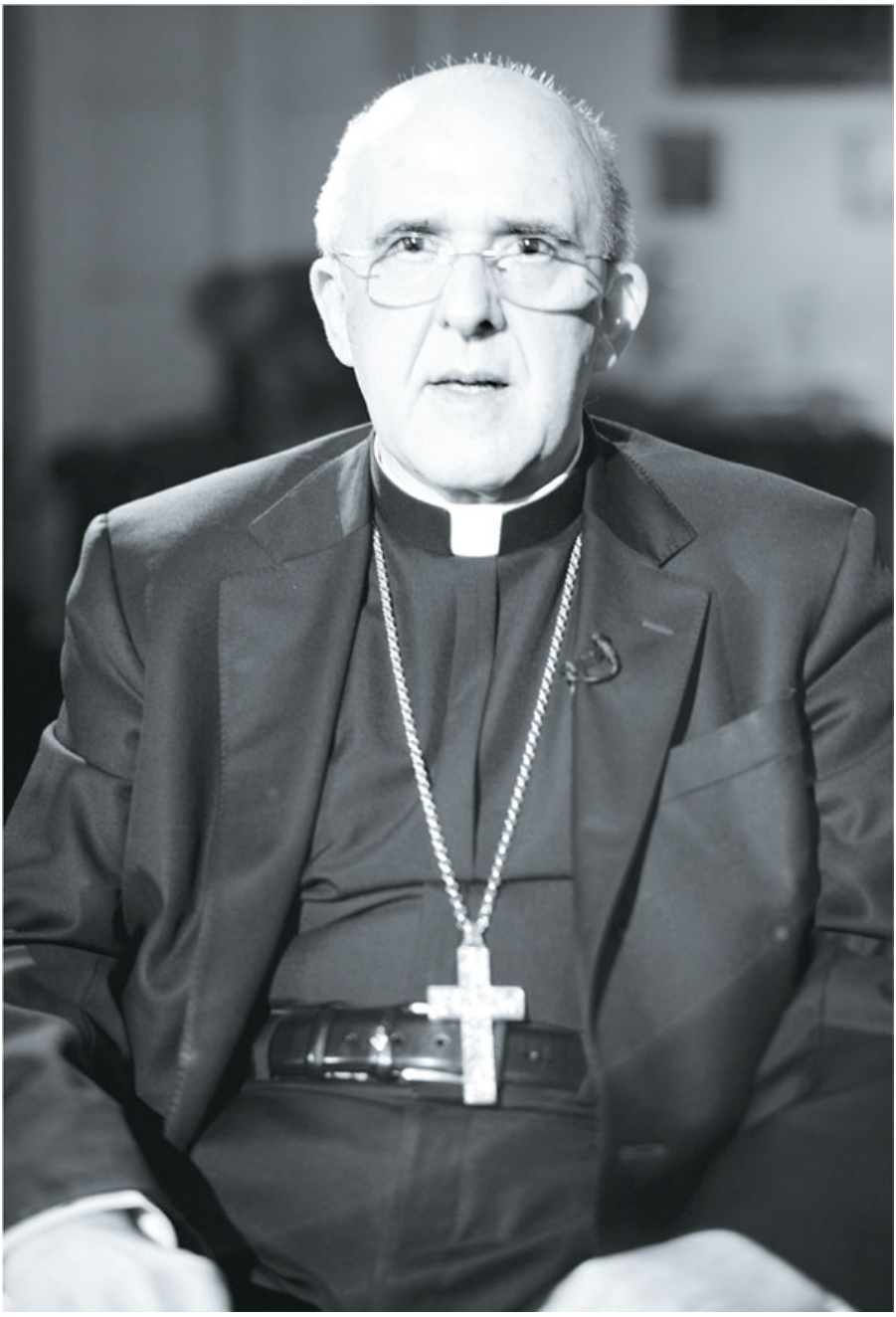
What’s done is done[17].

Для тех, кто, возможно, не помнит: одна из самых кровавых злодеек мировой литературы, шекспировская леди Макбет, говорит своему мужу, переживающему совершенные им злодеяния:

Things without all remedy
Should be without regard:
what’s done, is done[18].

Услышать эти слова из уст высокопоставленного священника я никак не ожидал. Хотя…

Разве не такой логикой руководствуются в странах, совершивших тяжелейшие преступления против человечности?



Япония по сей день не принесла извинений за зверства, учиненные ею против китайцев и корейцев во время Второй мировой войны.

What’s done is done.

Испания так и не извинилась за неслыханную жестокость и уничтожение инков и ацтеков во время завоевания Латинской Америки.

What’s done is done.

Соединенные Штаты никак не признают своей вины в фактическом уничтожении индейских племен.

What’s done is done.

Ни Литва, ни Латвия не покаялись в уничтожении сотен тысяч живших там евреев во время Второй мировой войны.

What’s done is done.

России отмахивается от преступлений Сталина и советской власти, от преступлений, которые не только связаны с репрессиями и казнями миллионов своих граждан, но и с бегством из страны миллионов, но и с гибелью десятков миллионов во время войны, к которой не были готовы. Согласно подсчетам многих экспертов, не будь этих преступлений, население России сегодня насчитывало бы порядка одного ***миллиарда*** человек, а не 146 миллионов.

What’s done is done.

Мариан Беитиалларангоитиа

У меня есть друг. Зовут его Степан Пачиков. Он удин. Вы слышали когда-нибудь об удинах? Я – нет. Оказывается, есть такой народ. Удины. Их совсем мало. О Степане так и хочется сказать: и удин в поле воин.

Почему удины сохранились, а другие, гораздо более многочисленные и в свое время могущественные этносы исчезли? Например этруски, парфяне. Или древние египтяне. Не арабы, которые ныне живут в Египте, а те, которые создали таинственные иероглифы и оставили после себя поражающие воображение памятники-пирамиды, способ построения которых мы до сих пор пытаемся разгадать. Почему исчезли инки и ацтеки с их высочайшей наукой и культурой, мы понимаем: их уничтожили конкистадоры. А почему сохранились евреи, которых согнали с их земель, веками преследовали, вынуждали отказаться от своей веры, пытались стереть с лица Земли? Есть много рассуждений на эту тему, но ясного и бесспорного ответа нет.

А баски? Откуда они пришли – не знаем. Каковы истоки их языка – не знаем. Почему, несмотря на то, что они подвергались бесконечным нападениям, они сохранились? «Из-за упрямства», – говорит Мариан Беитиалларангоитиа, член парламента Страны Басков. Ответ красивый, но не более того.

Есть вопросы, на которые мы никогда не получим ответа. И это замечательно.

Иньяки Перурена

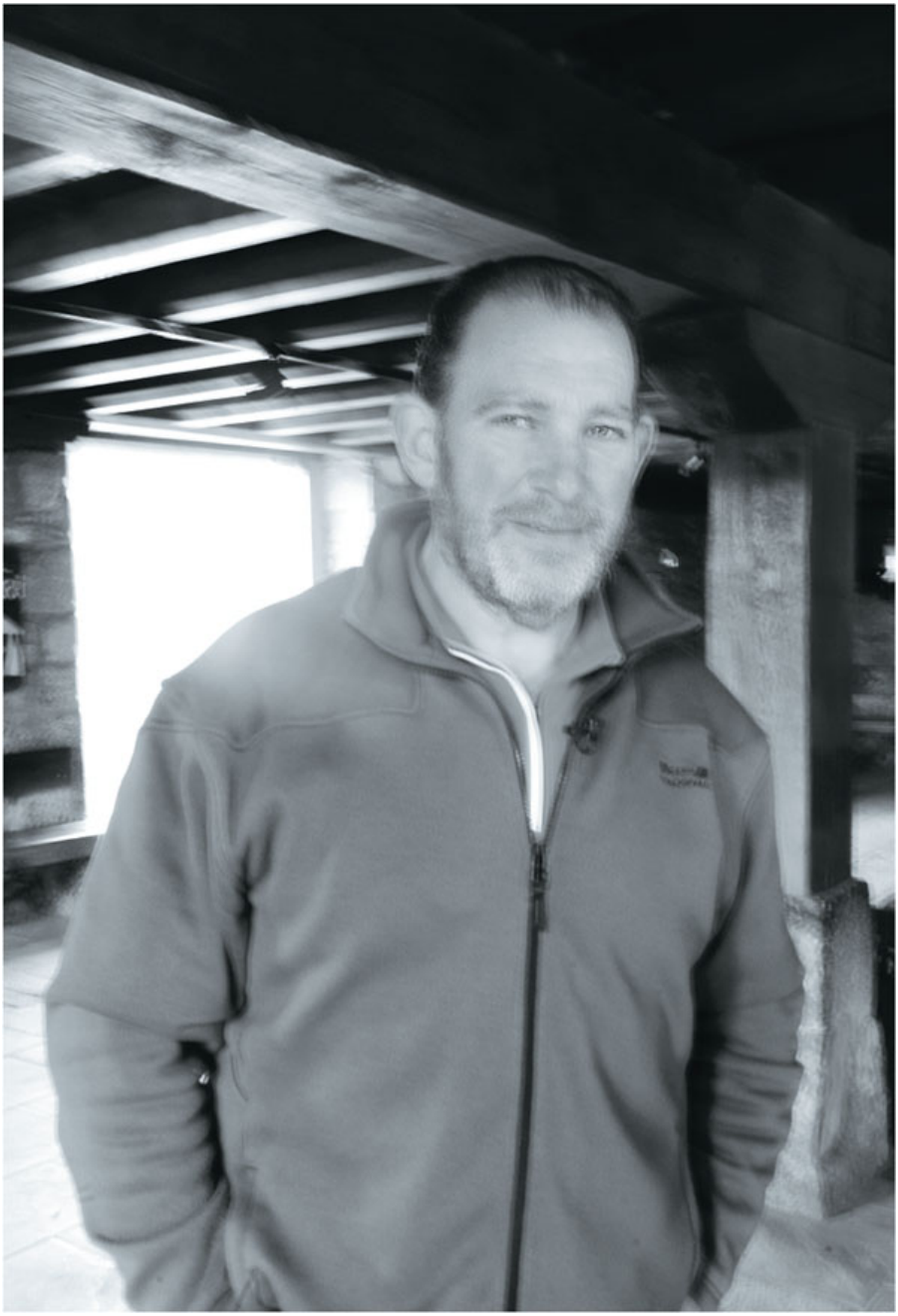
– Я хочу быть собой, – говорит этот мясник. Потом добавляет: – Представляете, что было бы, если бы все говорили на одном языке? Какая тоска!

Во времена Франко баскский язык был запрещен. Те, кто знал его, скрывали это.

Вспоминая встречу с Иньяки, я подумал: язык – это главное выражение национальной самобытности. Мой родной язык – это моя индивидуальность, моя суть. Если его отнять у меня, то кто я? И разве глобализация не стремится к тому, чтобы сделать нас всех одинаковыми? Чтобы мы все хотели одно и то же: одинаковые одежду, еду, образование, автомобили, чтобы у всех у нас было одно и то же представление о красоте, чтобы все мы думали одинаково? И чтобы, в конце концов, мы все говорили одинаково на «одинаковом» языке?

Если так случится, исчезнут все национальности, будет один всеобщий «одинаковый» народ.

Какая тоска!



Луис дель Ольмо

Он, журналист, посвятил себя борьбе с ЭТА[19].

Я разговаривал с ним по крайней мере в течение часа. Он ни разу не улыбнулся. Всмотритесь в его лицо. Не знаю, как вас, но меня оно испугало. Это лицо человека с одной всепоглощающей страстью. С таким лицом мог совершать свои дела инквизитор. Ни пощады, ни понимания.

Он ненавидит басков. Может быть, точнее сказать, он ненавидит ЭТА, террористов. Он утверждает, что он пережил девять (!) покушений. Он не верит ни одному слову ЭТА, в том числе и тому, что эта организация самораспустилась. И никогда не поверит, что бы и кто бы ни говорил.

И ничего не простил.

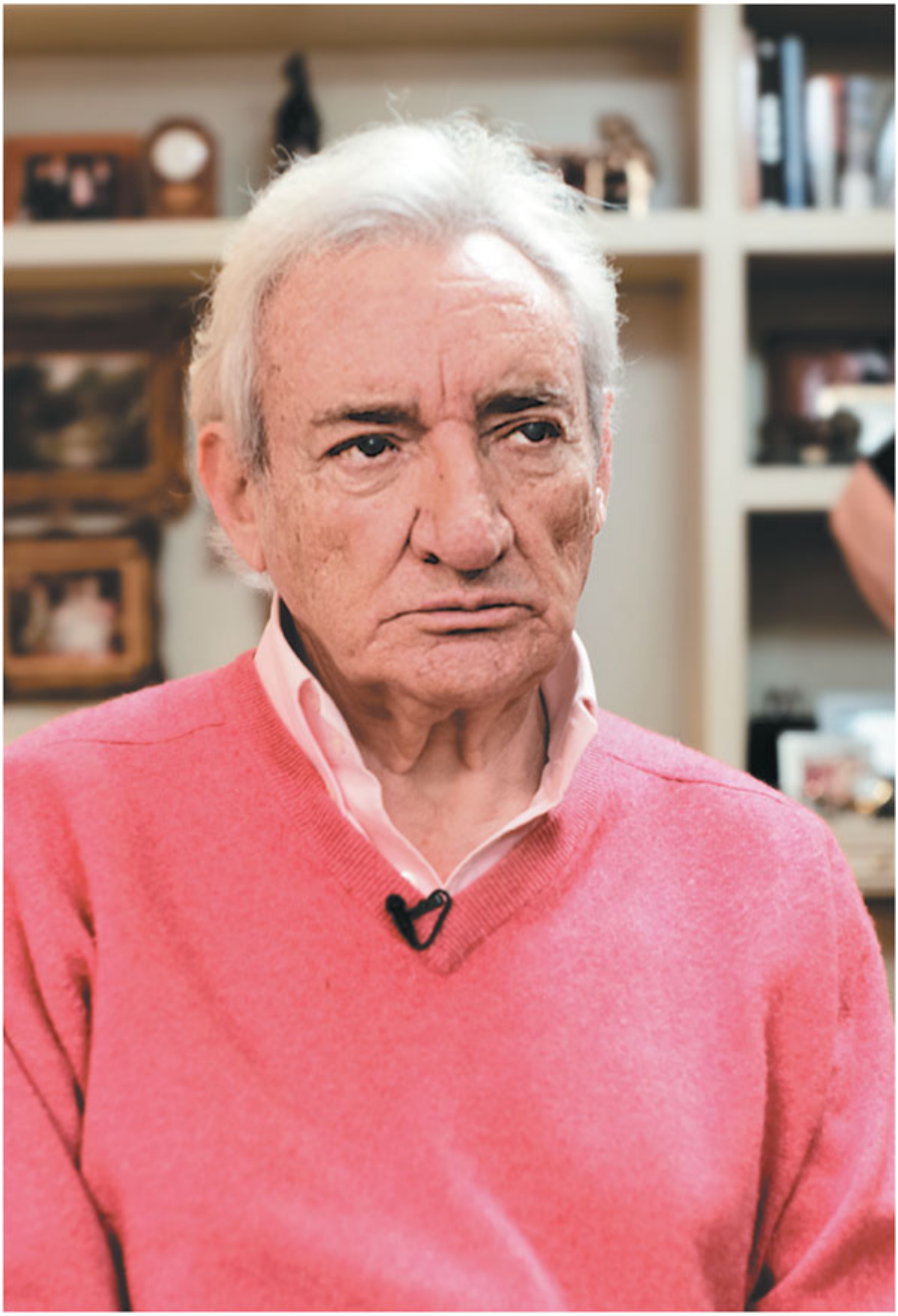
А Ирен Вийа простила. Она потеряла несколько пальцев, пришлось ампутировать часть правой ноги, сделать серию пластических операций, чтобы восстановить испещренное осколками лицо – все это последствия террористического взрыва, устроенного ЭТА.

Кто сильнее, дель Ольмо или Вийа?

Это одна сторона дела. А вот другая.

Я сейчас занят фильмом о Японии. Много читаю, о многом спрашиваю. Порой натыкаюсь на ребусы.

В 1281 году монголы попытались завоевать Японию. Хубилай-хан разместил 140 тысяч бойцов на пяти тысячах кораблей; противостояло им японское войско численностью всего в 40 тысяч человек. Шансов никаких. Но вот в те часы, когда монголы уже готовились к высадке, на северную часть острова Кьюшу внезапно налетел страшный тайфун. Монголы были сметены – как тайфуном, так и японскими самураями. Этот тайфун получил в Японии название ками-но-кадзе, или – короче – камикадзе, что значит «ветер богов».



Почти семь веков спустя японских летчиков, которые таранили и топили корабли американских ВМС, называли камикадзе. Они – ветер богов? Или они террористы? И кстати говоря, откуда берутся террористы? Ими же не рождаются. Почему человек соглашается взорвать себя? Во имя чего? Нет-нет, я не сторонник терроризма, но давайте признаемся: никогда, ни в

каком другом веке, не было такого размаха терроризма, как в веке двадцатом (и похоже, двадцать первом). Так почему?

Ну, хорошо, можно убедить человека в том, что совершив этот акт, он вознесется прямо в рай, где его с нетерпением ожидают сорок девственниц. Но баскским террористам ничего такого не обещали: они – католики; религия не имела никакого отношения к их борьбе за независимость.

Что должно произойти с человеком, чтобы он добровольно отдал свою жизнь? И почему в одном случае мы называем это терроризмом, а в другом героизмом? Например, эти самые камикадзе – они террористы или герои?

Разве террорист не всегда уверен в том, что жертвует собой ради благородного, важного дела, и считает себя героем? А то, что он убил десятки (а то и сотни) других, то, что он изуродовал, сделал пожизненными инвалидами многих и многих, об этом он не думает? Или, если думает, то находит оправдание?

Мы умеем убеждать себя в том, что даже совершая самые мерзкие и страшные преступления, мы герои.

Каэтано Ривера Ордоньес
Франциско Ривера Ордоньес

Норман Мейлер, один из лучших американских писателей второй половины XX века, попытался объяснить самоубийство Эрнеста Хемингуэя. Дословно не помню, но не могу забыть картину, которую нарисовал Мейлер (это не перевод, а мой пересказ):

Соприкасаясь со смертью, доходя до самой ее грани, но потом возвращаясь, мы как бы обновляемся, обретаем новые силы, перезаряжаемся, вновь способны творить. Легко представить себе, как Хемингуэй, который за свою жизнь много раз доходил до грани смерти и возвращался, рано утром спускался со спальни на первый этаж своего дома в Айдахо, доставал охотничье ружье, засовывал дуло в рот и вжимал спусковой курок все глубже и глубже в зону, за которой притаилась смерть, все глубже и глубже, до самой грани, так, что языком осязал смерть… и однажды не рассчитал.

Самоубийство? Ну, понятно, человек не засовывает в рот дуло ружья, не понимая, что если выстрелит, скажут, что это было самоубийство. Но разве это важно? А если он играл со смертью в игру, зная, что каждый выигрыш – это обновление, это прорыв? В игру, в которую можно выигрывать бессчетное число раз, но проиграть можно только однажды? Тогда это называется как?

Почему Хемингуэй был таким страстным поклонником корриды? Почему он восторгался и восхищался этим кровавым зрелищем? Не потому ли, что матадор – тот, кто убивает быка, – постоянно находится на грани смерти? И не завидовал ли ему Хемингуэй?

Городок Рондо расположился высоко-высоко на краю пропасти; стоя на мосту, который соединяет его две части, можно увидеть под собой парящих орлов. Здесь, в Рондо, находится одна из самых старых арен для боя быков в Испании, и здесь живут братья-матадоры Каэтано и Франциско Ордоньес. На этой арене, напротив ворот, откуда выбегают быки, похоронен их дед, великий матадор, родоначальник. «Хочу, – говорил он, – до конца моих дней видеть, как выбегает бык». Его сын, тоже великий матадор, на этой арене погиб. И внуки его, самые почитаемые в Испании матадоры, продолжают его дело.

Они, эти матадоры, особенные, они не такие, как мы с вами. Не так держат спину, идут, чуть выгнув ее, ставя ступню сначала на пятку, с пятки перекатывая ступню на подошву, выгнув подъем свода, и кажется, что они не идут, а плывут по земле. Разговариваю с ними и вижу, что они улыбаются одними губами. А смотрят с состраданием. Будто жалеют меня, будто сочувствуют мне, поскольку мне не дано понять того дела, ради которого они готовы отдать жизнь – не на словах, а на деле.

– Бык – это смерть? – спрашиваю я. – Это враг?

– Бык – это друг, – отвечает Каэтано.

– Как так – друг? Вы же убиваете его.

– Он гибнет ради нашей славы.

– Бык символизирует смерть?

– Нет, бык символизирует правду.

А смерть символизирует правду?

* * *

И все-таки бык – это смерть. И весь этот страшный и красивейший ритуал – это о смерти. И битком набитая арена, то заходящаяся от восторга, когда матадор, поставив быка на колени, поворачивается к нему спиной и гордой, чуть отдающей презрением, подчеркнуто замедленной походкой отходит от него, – то яростно вопящая и кидающая в неумелого матадора кожаные подушки-сидения, – это тоже все о смерти, потому что финал на этой арене завершается смертью: то быка, то матадора, но так или иначе она неизбежна, так же, как у нас с вами.

Смерть.

Для меня нет сомнений: коррида – это игра со смертью. Это размышление о смерти, это завороженность смертью, это жажда соприкосновения со смертью для того, чтобы, подразнив ее, щелкнув ее по носу, вернуться не просто живым, но обновленным. Это смотреть ей в глаза с полуулыбкой, это чувствовать ее тяжелое дыхание, это показать ей, что ты хоть и боишься ее («тот, кто говорит, что не боится быка, либо врет, либо сумасшедший», говорит Франциско), но и восхищаешься ею, любишь ее.

А вы боитесь Быка?

Курро Камачо, директор школы тореро «Амате»

– Вон, смотрите, – он кивком головы показывает на стену, на которой прикреплена голова быка. – Мой первый.

Улыбается устало своим воспоминаниям. И говорит:

– Это было другое время, золотое. Тогда каждого тореро можно было узнать даже со спины. А сегодня? Все похожи друг на друга, смотришь и не понимаешь, кто есть кто.

Он и представления об этом не имеет, но с моей точки зрения, этот бывший матадор, создавший школу тореро для детей, только что дал главное определение того, куда ведет глобализация: всё и все становятся похожими друг на друга, смотришь и не понимаешь, кто есть кто.

Если бы я сказал ему об этом, он бы вряд ли понял, о чем это я. Но тоска по индивидуальности, стремление быть собой, не быть похожим ни на кого, отличаться и быть узнаваемым – это сидит в нас.

Помню, много лет тому назад, будучи в Сиэтле на более не существующих «Играх доброй воли», я познакомился с американцем, владельцем крупнейшего агропромышленного комплекса, который с плохо скрываемым торжеством рассказывал мне о своих последних достижениях:

– Мы сумели вывести сорт квадратных помидоров. Они все созревают одновременно, они все одного размера, так что собирать могут их роботы. Это потрясающе!

– А как они на вкус? – спросил я.

– На вкус? Да нет у них никакого особого вкуса, – хохотнул он, – но когда с лица Земли исчезнет последний человек, который знал, что такое вкус настоящего помидора, наш помидор будет королем.

Глобализация…

Вспоминаю еще одну историю. Это было в 1957 году, я зарабатывал на жизнь переводами, как письменными, так и устными. В Москве проходил фестиваль документальных фильмов, на котором я работал синхронным переводчиком. И вот меня вызвали для перевода датского фильма «Стекло». Я сел в кабину, приготовился, пошли титры, первые кадры… а голоса нет

– ни в кадре, ни за кадром. Все действие сопровождалось музыкой. Ни одного слова. И две истории. Первая: огромный завод по производству пивных бутылок. Они двигаются по конвейеру уже готовые, осталось только налить в них пиво и закупорить, всем управляют роботы, бутылки шествуют, упираясь друг другу в «затылок», словно солдаты, конвейер меняет направление, и робот-рука берет бутылку за горлышко и переносит ее, но вдруг «рука» слишком сильно сдавила горлышко и перекусила: бутылка стоит на месте, «рука» хватает впустую воздух, а новые бутылки, сталкиваясь с телом обезглавленной, спотыкаются и падают с конвейера одна за другой, одна за другой, а робот-рука хватает и хватает воздух, и бутылки падают и падают. Возникает картина полной тупости и безысходности. И тут история вторая: начинает звучать совсем другая музыка – то ли Моцарт, то ли Вивальди – и мы видим стеклодува. Он выдувает нечто сказочной красоты, расплавленное стекло, переливаясь всеми цветами радуги, играет в его руках, и он, словно волшебник, заставляет его извиваться, расширяться и, наконец, застывать в виде красивейшей вазы.

Это было, повторяю, в 1957 году. Уже тогда датский режиссер предупреждал нас о грядущем.

Серхио Карамбано Хименес

Эту фотографию я поместил просто так. Она не навеяла никаких мыслей, но я видел этого мальчика на арене, где он, вместе с десятком других, учился матадорскому делу. Глядя на него, я вспомнил концерт Майкла Джексона, на котором был в Атланте много лет тому назад. В труппе Джексона были танцоры – человек пять, кажется, – и они появлялись на сцене до его выхода. Танцевали эти мальчики замечательно, но вот вышел Джексон, начал танцевать – и не стало их. Они никуда не делись, они были на сцене, они продолжали танцевать, но их было не видно. Был один Джексон, который творил волшебство.

Так вот, все мальчики делали пассы, выгибали спины, вращались – словом, выполняли все нужные движения. Но их не было, был один этот мальчик. В каждом движении было столько грации и силы, столько «матадорского», что невозможно было оторвать взгляд.

Всмотритесь в эту фотографию, в глаза этого мальчика и запомните его имя: Серхио Карамбано Хименес.

Он будет великим матадором.

Сесар Паламос

Представьте себе, что с самого детства вы влюбились в профессию – неважно, какую. Скажем, автогонщика. Влюбились страстно, на всю жизнь. Но вы автогонщиком стать не можете – плохое зрение, словом, по медицинским показателям не подходите.

Что вы будете делать? Скорее всего, станете искать себе применение в совершенно другой области. Будете работать, служить, не получать никакого удовольствия и страдать о мечте, которой не дано было осуществиться.

Но может быть, вы поступите так, как поступил Сесар Паламос. Он мечтал быть матадором, но по своим физическим данным совершенно не подходил. И тогда он нанялся работником мадридской арены Лас Вентас, главной арены страны. Он проработал там всю жизнь. Убирал следы корриды. Убирал грязь. Чистил трибуны. Но стал своим для великих матадоров, был свидетелем всех великих боев, были случаи, когда от разъяренного быка его отделяла лишь деревянная перегородка, он даже ощущал дыхание быка.

И был совершенно счастлив, хотя жил более чем скромно. И еще – он стал рисовать, и в кафе, где мы встретились с ним, все стены увешаны его картинами, которые чем-то напоминают рисунки Пикассо. На всех картинах, конечно, корриды.

Вопрос: что лучше – отдаваться тому, что ты любишь, даже если не можешь заниматься этим, но можешь быть рядом, даже если жить будешь трудно и бедно, или забыть об этом и заняться чем-то другим – куда более выгодным?

Что лучше, журавль в небе или синица в руке?

Энрике Гонсалес Мачо

Он сказал: «У испанцев есть опасная черта характера: мы любим возвеличивать кого-либо, а если не удается поднять его до самых вершин, тем лучше, мы его сбрасываем. Есть в этом какое-то малопонятное стремление к саморазрушению».

Нет, не согласен, это не стремление к саморазрушению, и это не сугубо испанская черта характера. И это вообще не черта характера, а часть нашей, сугубо человеческой натуры.

Ах, с какой страстью мы создаем великих! Вождей, актеров, спортсменов, военных. Как преклоняемся перед ними. Но как только узнаем, что они в чем-то нарушили нами созданный образ, поступили не так, сделали не то, – с каким рвением, граничащим с восторгом, мы рушим этот образ. Потому, скажете вы, что они не выполнили наши ожидания, обманули нас, разочаровали? Как бы не так.

В нас глубоко сидит и ждет своего часа нечто темное и мерзкое, которое не может допустить, не может примириться с тем, что кто-то лучше нас. Или, точнее, что мы не так хороши, как кто-то другой. Да, мы возвеличиваем этого другого, но сами, возможно, не отдавая себе в этом отчета, ждем его падения. И уж тут мы мстим ему за то, что сами возвеличивали его. Не можем простить его за то, что сами ошиблись, сами сделали его полубогом, сами возвели на пьедестал – и низвергаем его с таким же восторгом, с каким возвели на вершину.

Есть такой анекдот: когда умер Альберт Эйнштейн, он оказался у райских врат, где ожидал его святой Петр.

– Добро пожаловать, Альберт, – сказал Петр, – мы тебе рады. Нет ли у тебя каких-нибудь просьб?

– Есть, – сказал Эйнштейн, – я хотел бы поговорить с начальником. Это возможно?

– Для тебя, Альберт, – ответил Петр, – нет ничего невозможного. Все устроим.

Через некоторое время Всевышний принял Эйнштейна.

– Альберт, хотел со мной поговорить? Я к твоим услугам, – сказал Всевышний.

– У меня к тебе есть одна просьба, – сказал Эйнштейн.

– Слушаю тебя, – сказал Всевышний.

– Не мог ли бы ты написать формулу, по которой ты создал нас? – спросил Эйнштейн.

– Без проблем, – ответил Всевышний, взял кусок мела и стал на грифельной доске писать формулу.

Он писал, писал, и вдруг Эйнштейн сказал:

– Стоп! Там ошибка.

Всевышний виновато улыбнулся и сказал:

– Да, я знаю.

Бог ли, природа ли, но мы созданы с изъяном.

И не одним.

Пилар Эйре

Мне захотелось встретиться с этой женщиной после того, как я прочитал ее книгу «Одиночество Королевы». Несмотря на название, книга эта не о королеве. Книга о короле. Точнее, книга о том, как король Испании, Хуан Карлос I, изменял своей жене.

Сеньора Эйре журналист и писатель, и она считает, что не существует никаких запретов, когда речь идет об освещении жизни публичных фигур. И это особенно верно, когда речь идет о представителях власти. Тем более, когда это касается лидера.

Наследие Франко, говорит она, – заведомая непрозрачность, которой окружена власть. И еще она говорит: человек, который обманывает свою жену, может обмануть свою страну.

Я очень хорошо помню то время, когда частная жизнь политических деятелей, тем более глав государств, была абсолютно закрытой. Табу для прессы. При этом эскапады этих господ были хорошо известны. Например, любовные похождения президента Джона Кеннеди обсуждались за барной стойкой не менее открыто, чем итоги очередного тура американского футбола, но ни в одном СМИ об этом не говорилось ни слова. Прошло не так уж много времени, и любовные похождения президента Билла Клинтона были новостью номер один, обсасывались абсолютно всеми газетами, журналами, радио и телевидением. Вспомните, с каким сладострастием обсуждались его похождения, как вспоминали его любовниц того времени, когда он был всего лишь губернатором Арканзаса, а «страсти по Монике»[20] стали поводом для призывов к импичменту.

Я помню, как во Франции смеялись над пуританизмом американцев, да и у нас смеялись не меньше: мол, какая разница, кого Билл еб-т, какое это имеет отношение к его работе?

А вот сеньора Эйре считает не так. Тот человек, который стремится к власти, должен понимать, что народ имеет право знать о нем все, абсолютно все. Не нравится? Не ходи во власть.

Крутая, конечно, дама. Но что-то мешает мне принять ее

слова безоговорочно. А испанцы, спрашиваю я ее, согласны с вами? Она усмехается – видно, что в молодости она была чертовски красива – и чуть презрительно говорит:

– Бисмарк сказал, что Испания, должно быть, очень сильная страна, раз она выжила до сих пор, несмотря на испанцев.

Порой мне кажется – Бисмарк сказал бы то же самое о России.

Педро Рамирес

Мне важно сказать несколько слов об этом человеке – одном из самых известных журналистов Испании.

Ему было 23 года, когда он стал колумнистом газеты ABC. В течение пяти лет он писал еженедельную воскресную колонку «Хроника недели». В 28 лет он был назначен главным редактором газеты Diario 16 – газеты умирающей, с тиражом 15 тысяч. Через два года тираж вырос до 100 тысяч.

23 февраля 1981 года в Испании случился путч. Газета Рамиреса жестко выступала против лидеров путча. Ровно через год Рамирес был изгнан из зала суда, в котором слушалось дело о путче: сторонники путча отказались явиться в суд, если в зале будет находиться главный редактор газеты Diario 16. Верховный Совет военного правосудия отозвал его документы и вынудил его покинуть помещение. Это привело к историческому решению Конституционного суда, отменившего решение Совета военного правосудия, противоречащее праву читателя на информацию.

В марте 1989 года он был уволен с должности директора газеты за публикацию материалов о созданной при поддержке правительства антитеррористической организации GAL, задачей которой было убийство членов ЭТА. Более того, ему было запрещено впредь заниматься журналистикой.

Через семь месяцев после своего увольнения и изгнания из профессии Рамирес и три его товарища создали газету El Mundo. Больше пятидесяти журналистов газеты Diario 16 уволились с работы и перешли к Рамиресу.

После первого года своего существования тираж газеты достиг 100 тысяч; когда я встретился с Рамиресом, у газеты был один миллион триста тысяч читателей и она стала второй газетой Испании.

Под руководством Рамиреса газета разоблачила участие властей в убийстве более двух десятков баскских активистов, что привело к суду над бывшим министром внутренних дел и рядом других лиц, как политических, так и военных. Газета так же последовательно выступала против американской войны в Ираке.

В 2014 году Рамирес был уволен. Как он считает, его

увольнения добилось правительство.

Вопросы, которые возникали во время нашего общения, представляются мне важнейшими для понимания журналистики.

Цензура и самоцензура. С цензурой все ясно: существует официальный запрет на публикации в СМИ определенной информации; запрещена критика определенных лиц, событий, взглядов; запрещен доступ в СМИ определенным людям. Существует подробный перечень этих запретов в виде справочника, которым цензор пользуется, принимая решение. Часто это доходит до абсурда. Помню, когда в год пятидесятилетия Октябрьской революции (1967 г.) я готовил номер журнала, посвященный Ленинграду, и принес военному цензору нашу фотосъемку мостов Невы, сделанную с вертолета. Цензор запретил их.

– Но почему? – возмутился я. – Ведь американские спутники могут прочесть номерные знаки автомобилей, не то что увидеть наши мосты!

– Установку 1937 года в отношении такой съемки никто не отменял, – ответил мне цензор.

Да, с цензурой все ясно.

А вот с самоцензурой… Журналистика сегодня поражена ею – и не только в России. Готовя материал, журналист задается вопросами: понравится ли это редактору? Не рассердит ли это мэра? Губернатора? Президента? Не угрожает ли это мне? Не уволят ли меня и, если уволят, что будет со мной, с моей семьей? Может, не надо писать, говорить об этом? Может, надо писать и говорить о другом и по-другому?

Самоцензура рождается и цветет там, где нет правил, нет у журналиста уверенности в своей защите, там, где правит не закон, а произвол.

И это касается всех журналистов, кроме тех, которые не колеблясь, твердо решили следовать политике «партии и правительства». У них нет самоцензуры. Она их не мучает. Правда, они перестали быть журналистами…

Рамирес говорит:

– На свете есть три профессии, в которых долг превыше всех обстоятельств: священник, врач и журналист.

Каков долг священника, я точно не знаю.

Долг врача понятен: он должен лечить. В любых обстоятельствах. Предположим, врач идет по полю боя и видит лежащего на земле раненого. Он не должен спрашивать, свой он или чужой, он должен спасать его. Если спросит, значит, не врач.

Каков долг журналиста? Информировать. Как можно полнее, как можно объективнее, как можно честнее. Невзирая на лица. Не

беря в расчет ходульные представления о патриотизме, о дружбе.

Вот пример. Когда я работал в США и делал с Филом Донахью программу Pozner & Donahue для телевизионной компании CNBC, известнейший в Америке профессор журналистики Фред Френдли собрал группу видных тележурналистов и задал им следующую загадку:

– Представьте, что вы берете интервью у своего министра обороны. Сидите у него в кабинете. Вдруг звонит телефон. Он берет трубку, слушает, потом произносит – «Хорошо», кладет трубку и говорит вам: «Посидите три минуты, я сейчас вернусь», и выходит. Вы, конечно, смотрите, что у него на столе – вы же журналисты. Видите, что лежит документ – лежит вверх ногами, но вы же умеете читать вверх ногами, вы же журналисты. Из этого строго секретного документа вы узнаете, что через десять дней ваша страна объявит войну другой стране. Это не подстава, министр просто забыл перевернуть документ. Как вы поступите?

Нам потребовалось полминуты, чтобы сформулировать единогласный ответ: мы постараемся предать эту новость гласности.

Когда я рассказываю эту историю студентам факультетов журналистики в России, ответ бывает совершенно иным. Чаще всего говорят, что предать эту информацию гласности непатриотично.

Непатриотично? А кто мы такие, чтобы решать, какую новость следует сообщить, а какую нет? Патриотично ли принять решение о начале войны, не спросив нашего согласия? Мы готовы к тому, чтобы погибли наши отцы, мужья, братья, сыновья? Мы с этим согласны?

Это теоретический пример. А вот практический. Когда 26 апреля 1986 года взорвался блок на Чернобыльской АЭС, когда радиоактивная пыль поплыла по воздуху, когда в Киеве первомайская демонстрация шла под радиоактивным дождем и СМИ молчали – это было патриотично?

Совсем другая история, о которой я рассказывал не раз. Жил один испанец по имени Хорхе Семпрун. Он воевал против Франко. Когда Франко победил, он бежал во Францию – это было в 1939 году. В этом же году началась Вторая мировая война, Франция бесславно капитулировала. Семпрун пошел в Сопротивление, вскоре стал один из лидеров и одним из самых разыскиваемых немцами борцов за свободу Франции. Его поймали, потом отправили в концлагерь, кажется, Бухенвальд. Он выжил. Много позже он написал книгу о том, как везли их, будущих лагерников, пять дней. Называется она Le Long Voyage[21]. В одной из глав Семпрун рассказывает следующий

эпизод:

Он сидит в одиночной камере в гестаповской тюрьме. Солдат, который его караулит, спрашивает:

– Почему ты сидишь, что ты сделал?

– Я здесь потому, что я – свободный человек.

– Ты свободный? – со смехом говорит солдат, – какой ты к черту свободный?! Ты сидишь в тюрьме, а вот я – свободный. Скоро пойду в казарму, потом в бистро, попью пивка…

– Дурак ты, – говорит Семпрун, – ничего не понимаешь. Я ведь мог не рисковать шкурой, не сопротивляться вам, сидеть дома, попивать красное вино и читать газеты. Но как свободный человек я понимал, что у меня не было выбора. Ведь вы, фашисты, враги свободы. Если бы я отказался сопротивляться вам, я бы отказался от своей свободы. А вот тебе скажут «стреляй в него», будешь стрелять, скажут «кругом, шагом марш» – повернешься и пойдешь. Ты не свободный человек.

Долг свободного человека. Долг священника. Долг врача. Долг журналиста. О котором некоторые забыли и многие знать не знают.

Джозеф Ахрам

На фото не видно, что он весь в татуировках. Весь. С головы до ног. В носу – колечко. Одет, говоря сдержанно, вызывающе. Если попытаться угадать, кто он по профессии, придут любые мысли, кроме одной: брокер. Не просто брокер, а очень и очень успешный и удачливый. «Трудная профессия?» – спрашиваю я.

– Самое сложное, – со смехом отвечает Ахрам, – научиться терять деньги. Люди не умеют терять.

А ведь он прав. И я вспомнил вот эти строчки из стихотворения Киплинга “If”[22]:

И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и все начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел…

ERE IS TH

Ориол Хункерас

Все-таки, кто такой Дон Кихот? Безумец? Отчасти. Мечтатель? Конечно. Борец за правду, за справедливость, за то, чтобы люди жили счастливо? Разумеется.

Все ясно и понятно? Коли так, позвольте мне познакомить вас с Ориолом Хункерасом.

Он – профессор, историк, политик. Страстный сторонник независимости Каталонии. Был вице-президентом этой отличающейся высокой степенью автономии части Испании. Автономия эта неслучайна. На протяжении своей истории Каталония неоднократно заявляла о своем желании быть независимой от Испании, воевала и была бита. Начиная с первых лет XXI века Каталонии давались всякого рода «признаки независимости», как некоторые говорят, – поблажки, хотя и довольно значительные: в частности, придание каталанскому языку (да, именно так называется язык каталонцев) официального статуса. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, жажда самостоятельности все нарастала… Словом, «страсти по независимости» зашкаливали.

Я встретился с Хункерасом в 2015 году. Он произвел на меня двойственное впечатление. Умен, образован, с чувством юмора, приятен в общении – до того момента, пока не выскажешь сомнения в правильности стремления отделить Каталонию от Испании. Вот тут симпатичный увалень превращается в свирепого быка, ничего не слышащего и ничего не видящего, кроме противника, которого надо поднять на рога.

Я расстался с ним с твердым ощущением нарастающего кризиса – и не ошибся. В сентябре 2017 года, несмотря на запрет со стороны испанских властей, президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил о проведении референдума о независимости. «За» проголосовали 92 %, но в референдуме приняли участие только 43 % населения. Таким образом, осталось неизвестным, чего хочет большинство каталонцев. Несмотря на эту неопределенность, 23 октября Пучдемон провозгласил независимость Каталонии. Испанские власти, которым порядком надоели «каталонские безобразия», только и ждали этого, чтобы имеющими у них силами, в том числе вооруженными, покончить с «предателями Испании». Как только по-настоящему запахло жареным, Пучдемон бежал из страны. Хункерас не бежал. Вместе с несколькими другими членами самопровозглашенного правительства «независимой Каталонии» он был арестован.

Два года этот несгибаемый человек провел в тюрьме. «За идею сижу, – говорил он, – а не за деяния». 14 октября 2019 года Верховный суд Испании приговорил его к 13 годам тюремного заключения с запретом после выхода из тюрьмы заниматься политикой еще 13 лет.

Хункерас не спасался – защищал, как он считает, интересы

каталонцев, хотя было понятно, что испанская власть – это та же ветряная мельница, против которой у него не было никаких шансов.

Так как: он – Дон Кихот?

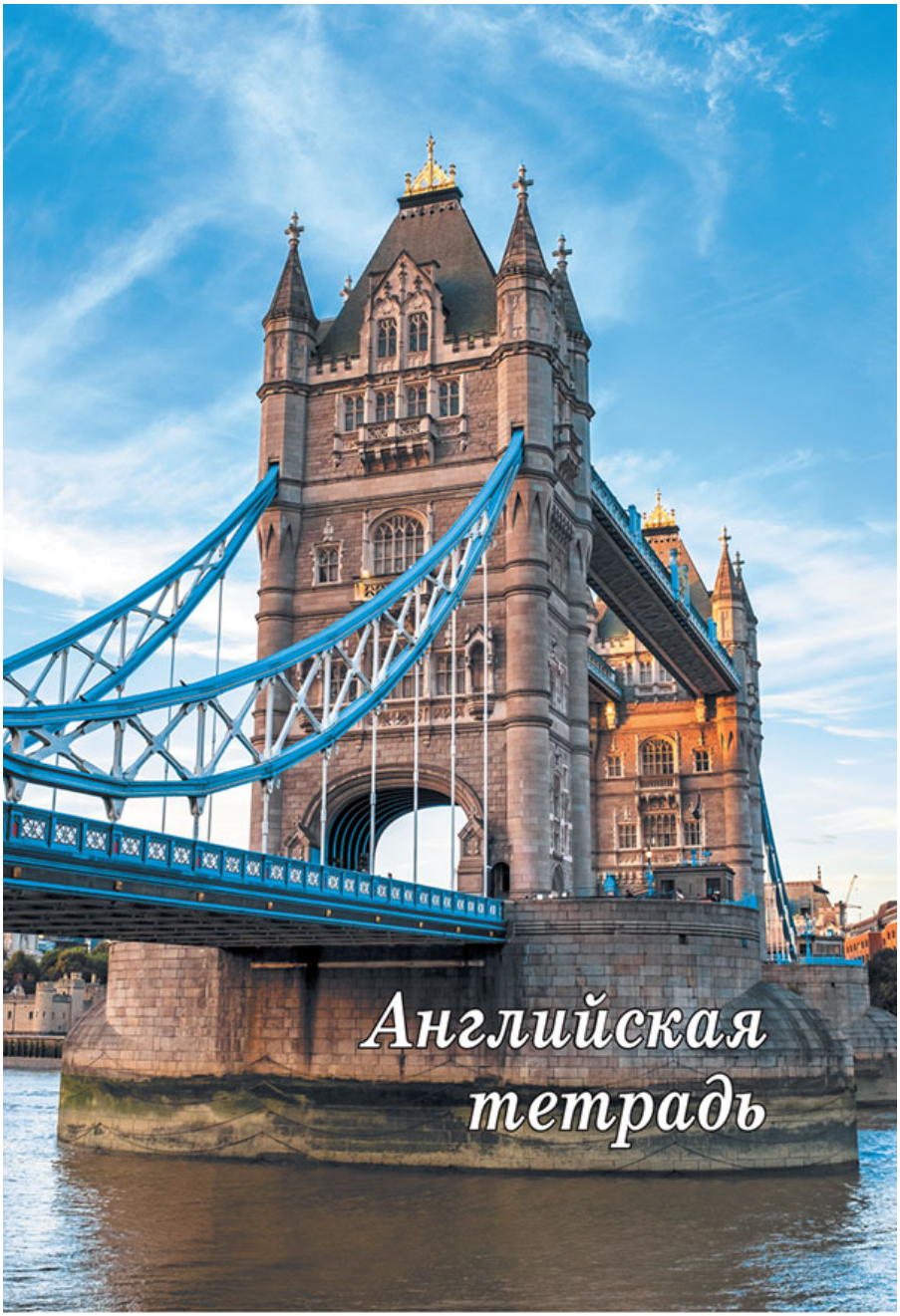
Боюсь, что нет однозначного ответа.

* * *

Ну вот, собственно, и все. Закончилась испанская тетрадь. И завершив ее, я неожиданно для себя затосковал по Испании, по испанцам, по Кихоту и Санчо, по этой смеси идеализма и заземленного скепсиса, по этой прекрасной, доброй, но и жестокой, внешне сдержанной, но внутри страстной и бурлящей стране, по призыву фламенко, по приветствию: “¡Holahombre!”, по реву: “¡Toro! ¡Toro!”.

Когда-нибудь вернусь. Обязательно вернусь.

Английская тетрадь



Введение

Почему «введение», а не «предисловие»? Потому, что к Англии и ко всему английскому не может быть предисловия. В английское можно только ввести.

Одна пожилая японская дама, проведшая детство в Англии, а потом, уже будучи взрослой, там работавшая, сказала мне: «Англичан понять невозможно. Они – загадка».

Мне очень хотелось ответить ей: «Как и вы, японцы», но я воздержался, опасаясь того, что это может быть воспринято ею как выражение неуважения, а допустить такое с японцем совершенно невозможно. Самурай бы тут же выхватил меч-катану и снёс бы мне голову. К счастью для меня, самураев больше нет. Хотя нет, самурай живёт в душе каждого, абсолютно каждого японца, почему проявление даже малейшего намёка на неуважение к его персоне совершенно невыносимо. Дама эта голову бы мне не снесла, но разговор прекратился бы тут же. Вместо оживлённого лица появилась бы непроницаемая маска отчуждения, вместо взаимного обмена – пустота. И поэтому я сказал:

– Удивительны ваши слова, ведь я всегда говорил, что англичане – европейские японцы.

Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась уголками губ и сказала:

– Да… Почти.

Я до сих пор сожалею о том, что не спросил её, к чему относится это «почти»? К тому, что англичане почти японцы или что они почти европейцы? Теперь, вспоминая тот разговор, думаю, что она имела в виду и то и другое. То, что англичане не японцы, очевидно, а вот то, что они не европейцы, наблюдение тонкое, которое совпадает с мнением если не большинства, то значительного числа жителей Коварного Альбиона.

Спросите англичанина, считает ли он себя европейцем. Только не ждите ответа «да» или «нет». На подобные вопросы, требующие ответа, касающиеся внутреннего мира, самооценки «да» или «нет» исключены, потому что вы, пусть не желая того, вторглись в приватный мир англичанина, а этот мир не касается никого, кроме него самого. Задавать такой вопрос может только человек неотёсанный, лишённый тонкости. Словом, не англичанин.

Кстати, когда я спросил эту японку, правда ли, что нас, европейцев, японцы считают варварами, она, чуть подумав, сказала:

– Да. Только мы это слово понимаем не так, как вы. Мы это понимаем как «неуклюжий»: вы все размахиваете руками, выставляете ноги, громко говорите, ведёте себя как слон в посудной лавке. Вы лишены тонкости.

Повторяю, на вопрос «европеец ли вы?», заданный англичанину, вы не получите односложного, определённого ответа. Скорее всего, вы услышите нечто вроде «это счастье нас миновало» или «увы, не повезло», наконец, нечто неопределённо-задумчивое, например «ума не приложу, как ответить вам», и вы так и не поймёте, что же на самом деле вам ответили. А на самом деле важно не то, что ответили «да» или «нет», важно то, что англичанин про себя подумал нечто вроде «как вы смеете вторгаться в мой privacy?». Пишу это слово по-английски, потому что в русском языке ни слова такого, ни понятия такого нет (как, впрочем, и во многих других языках). В оксфордском англо-русском словаре это слово переводится так: «уединение». Это, мягко говоря, неправильно.

Приваси (ударение на первом слоге) – так англичане произносят это слово – это сугубо личное пространство, куда всем вход воспрещён. Семилетний ребёнок может закрыть дверь своей комнаты со словами “I want my privacy” («я хочу свой приваси»), а это значит, что никому нет туда входа, что это для всех запретная территория, что невозможно даже подумать о том, чтобы нарушить её границы.

Ну ладно, пусть у англичан есть понятие, которого нет у других. Это полбеды. Но у них есть манера употреблять слова таким образом, что мы с вами понимаем их совсем не так, как они.

Вот вы рассказываете англичанину какую-то историю, и он по ходу вашего рассказа говорит: «Как интересно!»

Окрылённый его похвалой, вы продолжаете свой рассказ, и вам невдомёк, что на самом деле он сказал: «То, что вы рассказываете, скучно до посинения».

Или вы высказываете англичанину свои соображения по какому-то вопросу, на что он говорит: «Я услышал вас».

Вы расстаётесь с приятным чувством, что ваша точка зрения оценена. Но на самом деле он сказал: «Большей глупости я никогда не слыхал».

Или вы пообщались с англичанином, и в конце беседы он говорит вам: «Давайте как-нибудь пообедаем».

Вы обрадованно отвечаете: «Да, конечно, обязательно». А ведь на самом деле вам было сказано, что ни при каких обстоятельствах он не то что не пообедает с вами, но сделает всё, что в его силах, чтобы никогда больше не встречаться с вами.

Это не просто язык, это код. Вам кажется, что вы понимаете, что говорят, а на самом деле вы понимаете ровно столько, сколько понимали бы, если бы слушали японскую речь. С той, правда, разницей, что в этом случае вы понимали бы, что не понимаете, а здесь ровно наоборот…

Вот сидят два джентльмена в курительной комнате сигарного магазина, что расположен поблизости от Пикадилли на Сент-Джеймс-стрит (отличное место; если вы любитель сигар и будете в Лондоне, очень советую). Вы сидите недалеко от двух джентльменов и слышите вот такой разговор:

– Ваш сын уже пошёл в школу?

– Да, конечно.

– Прекрасно. А вы в каком году закончили её?

– В 1982-м.

Всё понятно, да? Как бы не так. На самом деле слово «школа» в этом разговоре следовало бы написать с заглавной Ш, потому что эти джентльмены подразумевают определённую школу, а именно Итон. Только это гнездо английской элиты, с точки зрения её выпускников, достойно названия «школа».

Итонский колледж был создан в 1440 году Генрихом VI, учатся там подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Король создал эту школу для детей неимущих, поэтому она, наряду с тремя другими подобными учебными заведениями Великобритании, называется public school, «публичной школой», школой, в которой учатся бесплатно. Бедный Генрих! Что бы он сказал, узнай он, что платными сегодня являются именно публичные школы (в 2019 году обучение в Итоне стоило сорок две тысячи пятьсот один фунт стерлингов в год – почти в два раза больше годового медианного[23] дохода англичанина). Получается так, что слово, внешне не изменившись, не только изменило своё значение, но стало означать ровно противоположное тому, что было вначале…

Кстати, то, как говорят выпускники публичных школ, как в смысле произношения, так и в смысле подбора слов, отличается от того, как говорят все остальные англичане. Вообще, как только один англичанин откроет рот, другой сразу определит не только из какого города или части Англии тот родом, но и к какому классу он принадлежит. Важно не только то, КАК он говорит, но и ЧТО он говорит. Например, если он, случайно задев кого-то, скажет “excuse me” («извините»), то он тем самым даёт понять, что он из «простых», а вот если скажет “sorry” («сожалею»), то это наверняка говорит о том, что он закончил «публичную» школу и принадлежит к верхушке общества.

Поди их пойми, англичан.

Nota bene

Эта «тетрадь» построена не так, как предыдущие. Есть общее – мысли, связанные с людьми, оставившими долгий след в моей памяти. А есть другое – темы, к которым подвёрстаны высказывания и мысли, которые, как мне кажется, важны для понимания того, кто есть англичане. Не британцы – шотландцы, валлийцы, ирландцы, – а исключительно англичане, ведь о них был снят фильм. Именно их, англичан, я стремился понять.

Когда я признался в этом Джереми Паксману, выдающемуся английскому журналисту, он сказал:

– Когда поймёте, прошу вас, поделитесь, уж очень хочется узнать.

И чуть иронично улыбнулся.

Блэк кэб

Если бы спросили меня: «Что возникает перед твоим мысленным взором при слове “Париж”?», я ответил бы: «Эйфелева башня и собор Парижской Богоматери». А при слове «Москва»? Ответил бы: «Кремль и храм Василия Блаженного». А при слове «Нью-Йорк»? Ответил бы: «Эмпайр-стейт-билдинг». А при слове «Лондон»? Ответил бы: «Часы Биг-Бен, Вестминстерское аббатство, двухэтажные красные автобусы и, конечно, такси блэк кэб».

Был бы я поэтом, написал бы элегию блэк кэбу. Но, к счастью (прежде всего для вас, читатель), я пишу презренной прозой. Так что элегии не будет, а будет признание в любви. Но сначала немного истории.

1654 год. В Англии Парламент принимает закон с таким витиеватым названием: «Указание для управления кучерами-хакни в Лондоне[24] и прилегающих местах». Проходит восемь лет, и в 1662 году первой карете-хакни даётся лицензия на то, чтобы служить «нанимаемым средством извоза». Это первое такси в мире – правда, само название «такси» возникло гораздо позже, но не будем спешить (у англичан спешка – признак дурного тона и плохого воспитания).

К 1700 году более тысячи карет-хакни громыхали по центру и окраинам Лондона, распугивая кур и людей, а кучера их смущали прохожих неслыханным сквернословием, настолько неслыханным, что королева Анна издала приказ штрафовать этих самых кучеров за каждое нецензурное слово на сумму в пять шиллингов, что сегодня составило бы 23,5 фунта.

В 1834 году карете-хакни пришёл конец: лицензии были переданы более современным и удобным хэнсомовским кэбам[25]. Вместо четырёх колёс – два, вместо двух лошадей – одна, бóльшая манёвренность, бóльшая скорость, бóльшая безопасность, меньше шума и, главное, гораздо более дешёвое средство передвижения.

Появление двигателя внутреннего сгорания, автомобиля – оставим эти детали и перейдём к главному событию: в 1948 году рождается первый блэк кэб[26] – Austin FX3, а спустя десять лет – FX4, самое знаменитое такси в мире. Чем он так уж хорош, спросите вы?

Во-первых, удобством. Если вы, например, носите котелок,

самый английский из всех головных уборов, то вы сможете сесть в эту машину, не снимая его, не сгибаясь в три погибели (котелок был придуман для наездников: шляпа сидит на голове плотно, её не могут сбить ветки деревьев, под которыми проскакал наездник – егерь или охотник; блэк кэб верен этой традиции). Вы можете сидеть в этой машине, не опасаясь того, что вы своим котелком упрётесь в потолок, то есть при желании можете его не снимать. Вы можете сидеть, вытянув во всю длину ноги, какого бы вы ни были роста, а не сидеть скрючившись, как это часто бывает в других такси. Два аккумулятора блэк кэба обеспечат вам яркий свет, так что читайте при любой погоде.

Во-вторых, манёвренностью. Если вдруг вам понадобится поехать назад, потому что вы забыли дома упомянутый выше котелок, то блэк кэб развернётся на пятачке (точнее, на круге диаметром 7,62 метра) без всякого ёрзания взад-вперёд. Для блэк кэба нет непреодолимых преград.

Но самое главное в блэк кэбе – это его «кучер».

Для того чтобы стать водителем лондонского блэк кэба, надо сдать экзамен, известный под названием «Знание», “The Knowledge”. Слышу, как дотошный читатель, знаток английского языка, говорит мне: «Что же это вы, Владимир Владимирович, ставите определённый артикль “the” перед существительным “knowledge”? Это ошибка, артикль здесь не нужен». Поскольку не все читатели разбираются в тонкостях языка Шекспира, вынужден сделать отступление.

В отличие от русского языка, в котором нет артикля, в английском их целых два (слава богу, не три, как в немецком!): определённый “the” и неопределённый “a”. Какой следует использовать в том или ином случае, объяснить трудно, но я попробую. Возьмём предложение «Я увидел кошку». По-русски всё понятно, человек говорит, что он увидел кошку. Но по-английски это совсем не так. Можно сказать “I saw a cat”, а можно “I saw the cat”, и это будут разные кошки. Скажем, человек говорит: «Сегодня утром я увидел чёрную кошку»; по-английски это будет “This morning I saw a black cat”. Речь идёт не об определённой чёрной кошке, а о кошке вообще, в данном случае чёрного цвета. Вы отвечаете ему: «Вон та чёрная кошка, которую ты увидел», по-английски “There is the black cat that you saw”, а это уже совершенно конкретная, определённая кошка, та самая, которую он увидел утром.

Теперь возьмём существительное “Knowledge” («Знание»). Само по себе оно нейтрально, в артикле не нуждается, хотя в сочетании с другими словами требует артикля. «A knowledge of English is good to have» можно перевести как «Хорошо иметь

некоторое (то есть неопределённое) знание английского». Но можно сказать “The knowledge of English is good to have” – «Хорошо иметь знание (конкретное) английского».

Если я запутал вас, то sorry.

Вернёмся к нашим баранам. Если существительное “Knowledge” не нуждается в артикле, почему экзамен, который должен сдать водитель блэк кэба, называется «The Knowledge»? А потому, что речь идёт не о знаниях вообще, а о совершенно определённом, единственном в своём роде знании, которое относится исключительно к компетенции водителя блэк кэба.

Для того чтобы получить зелёный бедж, дающий право водить блэк кэб по всему Лондону, водитель должен знать:

– место нахождения не менее 25 000 улиц;

– самое короткое расстояние между любыми двумя пунктами Лондона;

– сколько времени потребуется в разное время суток, с учётом часа пик и тому подобного, чтобы добраться из пункта А в пункт Б;

– не менее 20 000 так называемых “points of interest”, то есть представляющих интерес зданий, памятников, парков, видов и так далее.

Экзаменатор может задать столько вопросов, сколько он считает нужным, и достаточно одного неправильного или неточного ответа, чтобы провалиться. Пересдавать экзамен после провала можно только через три месяца, и за каждую пересдачу надо платить.

Об экзаменаторах рассказывают чудовищные истории. Например, один брал два дротика и метал их в громадную настенную карту Большого Лондона, после чего предлагал абитуриенту определить самый короткий и скорый путь между этими двумя «пунктами». Если сдающий протестовал, экзаменатор (чаще всего бывший полицейский) предлагал ему самому бросить дротики.

В среднем будущему водителю блэк кэба требуется три-четыре года (!) для успешной сдачи экзамена и получения заветного зелёного беджа.

Среди таксистов водитель блэк кэба – аристократ, в связи с чем я вспомнил вот какую историю.

Нью-Йорк, в офис к представителю крупной корпорации входит секретарь и говорит:

– Сэр, в приёмной вас ожидают шесть журналистов и господин из «Нью-Йорк Таймс».

Применительно к Лондону можно бы сказать:

– Сэр, вас на улице дожидаются шесть таксистов и

джентльмен с блэк кэбом.

Энтони Хайзер [27]

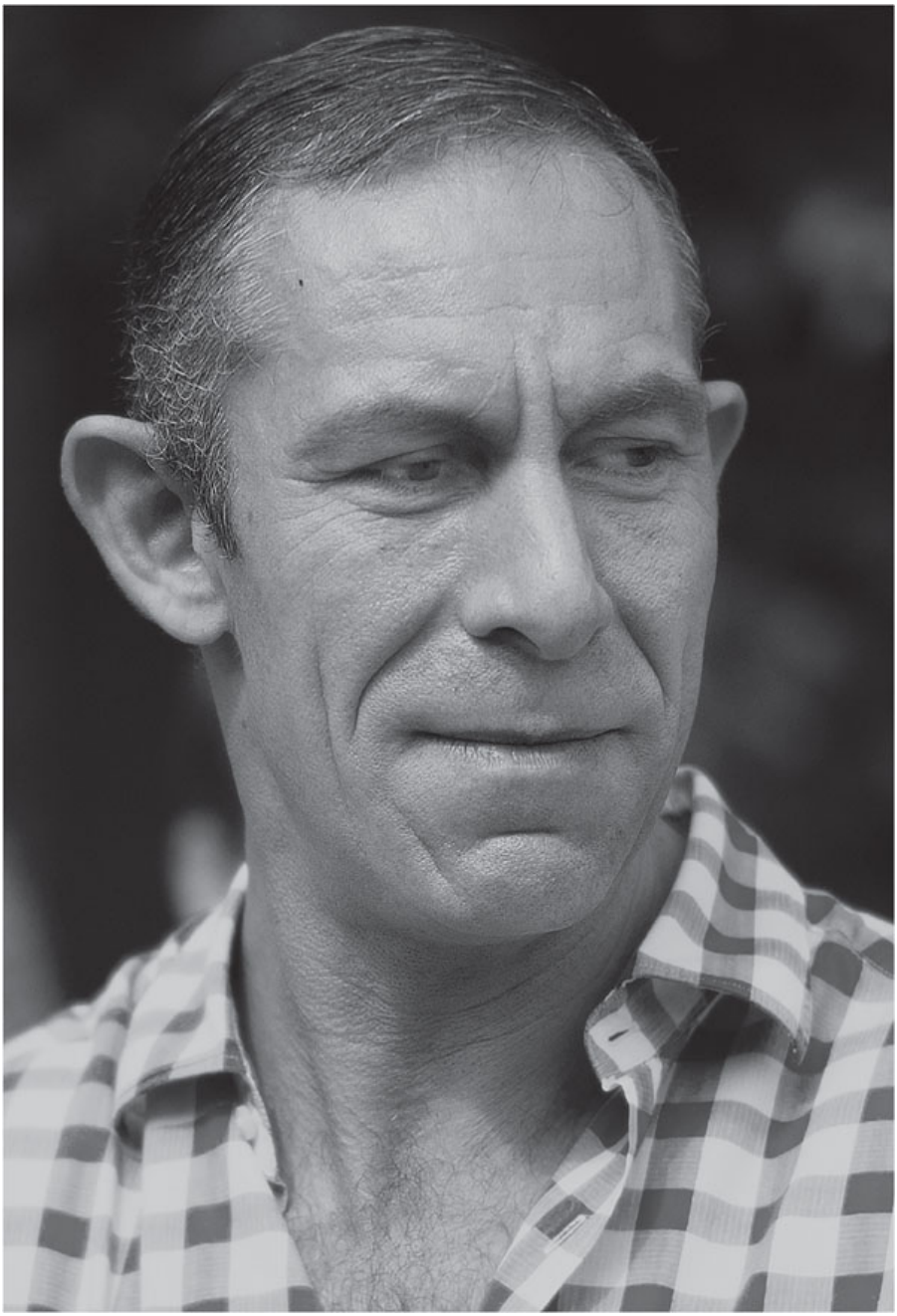
– Мой отец тридцать лет водил блэк кэб, – говорит мне Энтони Хайзер, – и я те же тридцать лет вожу его. И знаете почему? – продолжает он, не дожидаясь ответа. – А потому, что это лучшая работа в мире. Я же езжу по Лондону, а Лондон – лучший город в мире, это я говорю вам точно. Вы где родились, сэр?

К вам обращались со словом «сэр»? Это, поверьте, кайф.

– В Париже.

– Чудный город, ничего не скажешь. Но, не будь это сказано вам в обиду, сэр, это не Лондон. Знаете, когда мне было двадцать лет, ко мне сел муж Маргарет Тэтчер. Когда я привёз его на место, то сказал ему: «Мне очень нравится ваша жена, сэр». Он ответил: «Какое интересное совпадение. Мне тоже». А на днях я обогнал нашего премьер-министра, он ехал на работу на велосипеде. Помахал ему: «Привет, Борис». Замечательная работа.

Я вспомнил французскую притчу. Дело происходило в четырнадцатом веке в Шартре, где строили собор – самый, на мой взгляд, красивый собор во Франции, а значит, и в мире. По стройплощадке ходит репортёр и всем задаёт один и тот же вопрос. Идёт человек, тащит мешок. «Что вы делаете?» – спрашивает репортёр. «Тащу мешок», – отвечает тот. Идёт человек, катит тачку. «Что вы делаете?» – спрашивает репортёр. «Качу тачку», – отвечает тот. Идёт человек, несёт бревно. «Что вы делаете?» – спрашивает репортёр. «Несу бревно», – отвечает тот. Сидит человек, обтачивает камень. «Что вы делаете?» – спрашивает репортёр. «Строю собор в Шартре», – отвечает тот.



Улавливаете разницу?

Был журналист, известный не только в своём родном Чикаго, но и во всей Америке, по имени Стадз Тэркел. Он автор не только тысяч статей и радиопередач, но и многих книг. Одна из них, “Working” (буквально «Работая»), мне запомнилась навсегда. Она состоит из нескольких сот интервью, суть которых можно

выразить коротким вопросом: «Нравится ли вам ваша работа?» Тэркел расспрашивает самых разных людей, от председателей правления крупнейших компаний до работников прилавка и официантов. Это на самом деле поразительное социологическое исследование, из которого следует, что людей, нашедших себя в своей работе, немного. При этом то, сколько они зарабатывают, не имеет значения.

Встречаются мультимиллиардеры, которые с неподдельным отвращением говорят о своей работе, мечтая о том дне, когда, получив «золотой парашют», они уйдут на пенсию. Как говорит один такой персонаж, «Да, очень много денег, но ничего, кроме ощущения бессмысленно потраченной жизни и понимания того, что я просрал богом данный мне талант рисовальщика, я не ощущаю. И даже то, что я обеспечил своим детям хорошее образование и безбедное существование, не утешает меня. Может быть, если бы им пришлось самим добиваться всего, из них бы получились более ценные люди».

А на другом конце этой шкалы есть каменщик, который говорит: «Я кладу кирпич так, как никто другой. То, что я построил, будет стоять века. Через сто, двести, триста лет проедет человек мимо построенного мной дома, посмотрит и скажет: “Как здорово сработано, как красиво!” Меня уже давно не будет на этом свете, но я знаю, что это будет так!»

Когда я был школьником в Америке, я рос с пониманием того, что нет работы второго сорта. Главное – делать её хорошо. Есть работа, за которую платят много, есть такая, за которую платят мало, но сама работа постыдной быть не может. И я с этими представлениями приехал в СССР, в страну, одним из лозунгов которой был «Всякий труд почётен». Трудно передать вам чувство моего разочарования, когда я убедился в том, что этот лозунг на самом деле мыльный пузырь, такой же пустой, как другой лозунг – «Коммунизм победит, потому что он верен». Оказалось, не всякий труд почётен. Более того, есть профессии если не сказать «постыдные», то, как минимум, неуважаемые, и прежде всего это те, которые относятся к обслуживанию, к тому, что мы сегодня называем сервисом.

Если вспомнить хронический дефицит практически любых товаров и продуктов, от которого страдало советское общество практически с первого и до последнего дня своего существования, то к профессии «обслуги» добавляется особенно подлая краска: необходимость в том или ином виде пресмыкаться перед «работниками прилавка». Чтобы в гастрономе получить полноценный кусок мяса, а не несъедобный шмат жира с костями. Чтобы повреждённую «копейку» вернули не через месяц, а хотя бы

через неделю. Чтобы необходимую справку получить без многодневного ожидания в бесконечных очередях. Существовал донельзя простой способ решения этого вопроса: взятка. И получалось так, что «обслуга» жила очень и очень недурно, имея не только «левый» доход, но и доступ к желанному дефициту. Было что-то шизофреническое в том, что сама профессия была и презираема, и желанна. Какой-нибудь директор гастронома или универмага мог рассчитывать на самые престижные места самых аншлаговых премьер Большого театра, то есть относился к так называемому «нужняку», а это слово употреблялось с оттенком полного презрения.

Когда я вспоминаю, какие профессии реально считались уважаемыми в Советском Союзе, на ум мне приходят немногие: учёный, космонавт, лётчик-испытатель, конструктор, артист, писатель… Есть в английском языке выражение “lip service”, буквально «губная услуга». Это чаще всего переводят как «пустые слова» или «неискренние словоизлияния». Мне не очень нравится ни то ни другое, но если выбирать, то я выбрал бы второе. В соответствии с советской идеологией, не было более почётного труда, чем труд рабочих и крестьян. Им вручали золотые звёзды Героев Социалистического Труда, ордена Ленина, «выбирали» их в Верховный Совет СССР, но всё это было «неискренним словоизлиянием», потому что никто не мечтал о том, чтобы сын или дочь стали шахтёром или дояркой. Это была работа «второго сорта».

Вы когда-нибудь задумывались над корнем слова «работа»? Я обратил внимание на это совершенно случайно и сам поразился своему «открытию». Как может человек относиться к деятельности, в корне которой лежит слово «раб»? Потом я вспомнил русскую пословицу, не имеющую аналога в других знакомых мне языках: «Работа не волк, в лес не убежит». У меня нет никакого желания ударяться в философские рассуждения по этому поводу, но ясно, что исторически сложилось так, что отношение к работе в России, скажем так, своеобразно. На то существуют, конечно, свои причины, но это уже другая тема.

Вернемся к словам Энтони Хайзера. Мне кажется, что требуется наличие довольно развитой фантазии, чтобы представить себе нашего таксиста, восторженно говорящего о своём труде и городе. Слова «всякий труд почётен» пока ещё чужды русскому сердцу, и это, я убеждён, одна из серьезных проблем, стоящих перед страной.

Прощаясь на этой странице с Энтони Хайзером, я не могу лишить вас примера его типично английского чувства юмора. Когда я спросил его, есть ли у него дети, он ответил: «Да, у меня

два сына. Младший похож на меня, а старший настолько умнее всех нас, что я не уверен, что он мой».

Артур Эдвардс и Роберт Хардман

Время помазанников божьих, царей и цариц, королей и королев, давно миновало. Последним подлинным представителем этого рода в мире был, как мне кажется, Николай II. Ныне существующие монархи в таких странах, как, скажем, Люксембург, Бельгия, Дания, Швеция, Голландия и Испания, не имеют реальной власти и представляют собой лишь номинальных глав страны. К ним относятся чаще всего с симпатией; некоторые, в зависимости от обстоятельств и собственного характера, пользуются определённой популярностью и авторитетом, но не более того. За одним исключением. Речь о монархе Великобритании, в данном случае – Елизавете II.

Артур Эдвардс – фотограф, но не просто фотограф, а фотограф королевской семьи. Когда я спросил его, чем он объясняет преданность англичан своему монарху, давно лишённому какой-либо реальной власти, он ответил так:

– Мы, англичане, стремимся к надёжности и постоянству, и нет ничего более постоянного, чем королева. Она как Биг-Бен[28], как лондонский блэк кэб или красный двухэтажный автобус.

Когда я спросил историка королевской семьи, Роберта Хардмана, чем он объясняет всенародную любовь к королеве, он ответил:

– Она неизменна и надёжна, как скала.

Я был в Лондоне в день плебисцита по поводу брексита, то есть вопроса о том, выходить из Европейского союза или нет. На следующий день «Би-Би-Си»[29] разослала своих репортёров по всей стране с заданием выяснить, почему британцы проголосовали (пусть совсем незначительным большинством) за выход из ЕС. Я запомнил репортаж из небольшого городка на

севере Англии, в котором журналист обратился к двум милым англичанкам лет пятидесяти, обе в шляпках, блузочках, аккуратных деловых костюмах, с вопросом:

– Вы голосовали «за» или «против» выхода?

– Конечно же «за», – ответили они хором.

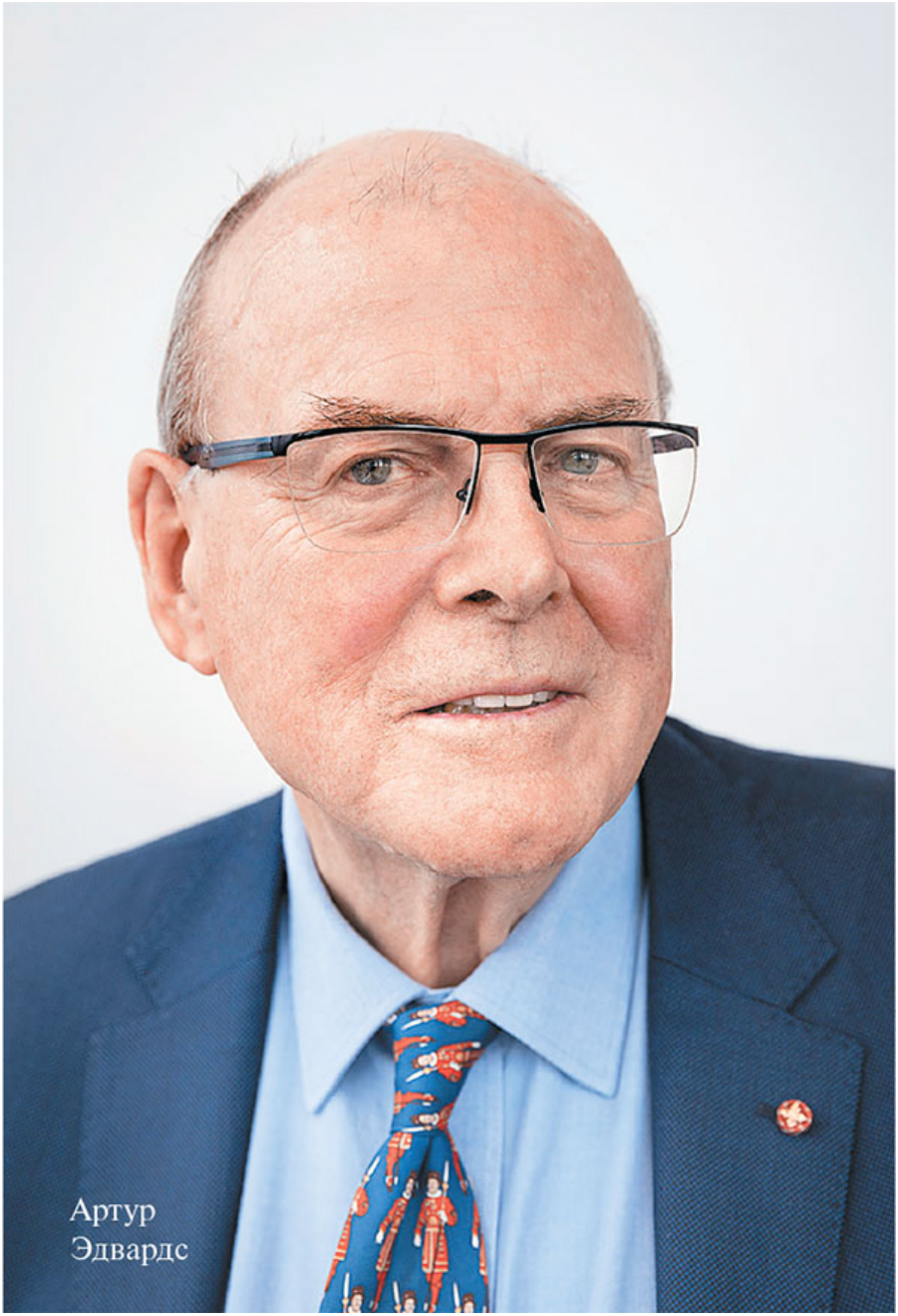
– Почему? – спросил репортёр.

– Ах, – ответила одна из них, – так хочется, чтобы всё было как прежде.

А прежде была величайшая империя в истории, над которой не заходило солнце, прежде не было такого количества иммигрантов, такого количества непонятных языков и чужих лиц, прежде было раздельное обучение мальчиков и девочек, прежде мальчиков секли за непослушание и готовили из них бесстрашных, хладнокровных, не потеющих в жару и не мёрзнущих в стужу образцовых англичан-колонизаторов.

Бедные, бедные женщины. Они не понимали, что это «прежде» не вернётся никогда.

Мечта о «прежнем» – это тоска по привычному, по постоянному, которая чувствуется особенно остро в стремительно меняющемся мире. Мы не знаем, куда идём, что ждёт нас и наших детей, мы живём в подвешенном состоянии, а ведь прежде…



Мне кажется, что встречающаяся в России ностальгия по советским временам связана с жаждой спокойствия, постоянства, как говорили когда-то, уверенности в завтрашнем дне. Для советского человека жизнь была ясна, как маршрут автобуса, в котором все остановки неизменны и потому предсказуемы: детский сад, школа, пионеры, комсомол, вуз, работа, пенсия,

похороны. Я помню многих моих друзей, которых эта предсказуемость сводила с ума, впадавших в депрессию от того, что всё было заранее известно. Вместо уверенности в себе – уверенность в уверенности в завтрашнем дне…

Странные мы существа. Предсказуемость и неизменность сводят нас с ума, если сопровождают нас с рождения до смерти. Но, попадая в иные обстоятельства, в иную среду, в которой всё подвижно и ненадёжно, не неизменно, в которой постоянно надо искать точку равновесия, мы начинаем страдать по чему-то такому, что неизменно, что внушает нам чувство постоянства, уверенности в том, что то, что было вчера, есть сейчас и будет завтра.

У англичан это есть.

Монарх.

В пандан.

Дом, в котором живёт эта женщина, называется «Дом Наследия». Он целиком и полностью посвящён королевской семье. В его четырёх комнатах хранятся более десяти тысяч предметов, так или иначе относящихся к королевскому роду. В основном это абсолютный китч, хотя попадаются вещи ценные, например фарфоровый бюст принцессы Дианы производства фирмы «Веджвуд» стоимостью пять тысяч фунтов.

Какой философ постулировал переход количества в качество? Гегель? Вот бы ему приехать сюда, в «Дом Наследия», чтобы насладиться конкретным подтверждением этого закона: небольшой и малозаметный домик, в котором накапливалась всякая королевская всячина, превратился в… музей!

Да, да, в музей, сюда приезжают туристы из Америки и Японии (от А до Я), чтобы охать и ахать, удивляясь невероятному количеству и разнообразию собранного материала.

Самой госпоже Тайлер почти негде жить: забито буквально всё.

Но я вспомнил её в связи с предыдущим рассказом. Когда я спросил её, как она объясняет свою любовь и любовь своих соотечественников к королеве, она ответила: «Людям нужен кто-то, на кого можно равняться».

Кеннет Уорф

Попробуйте по фотографии угадать, чем занимается (точнее, занимался) сей джентльмен. Кто-нибудь сказал «полицейский»? Браво! Да не просто полицейский. Кен Уорф был личным телохранителем принцессы Дианы. И очень любил её, хотя не произносит этих слов, это было бы не по-английски, нечего выставлять напоказ свои чувства.

– Если бы она не отказалась от личной охраны, по сей день была бы с нами, – говорит он, глядя куда-то холодными, ох какими холодными глазами.

Я хотел было спросить, почему она отказалась, не уговорил ли её кто-то, но сдержался. Что-то в напряжённом лице и угрюмом молчании этого человека как бы говорило: «Помолчите. А то…»

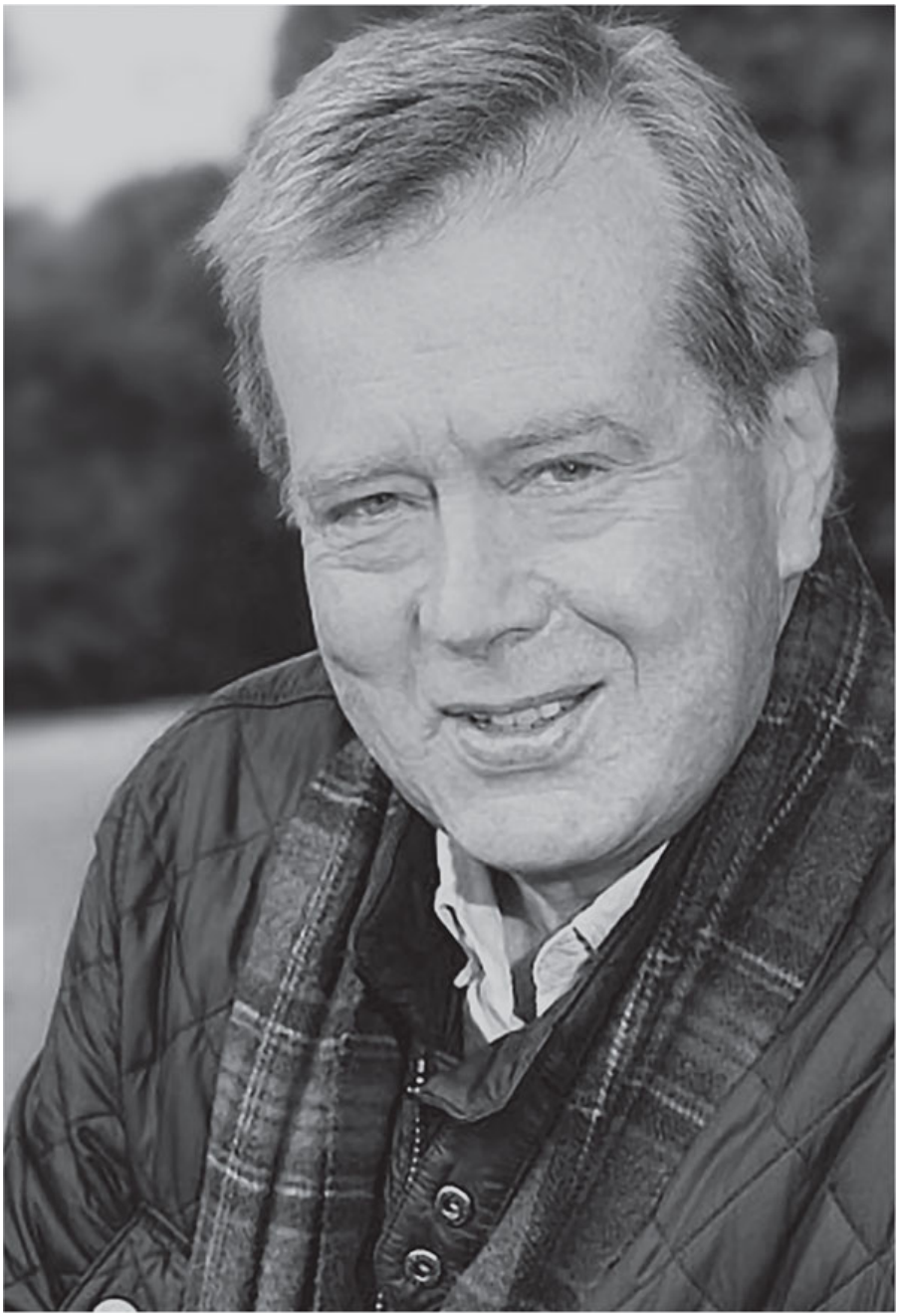
– Знаете, – вдруг ни к селу ни к городу выпаливает Уорф, – я был на самом последнем концерте «Битлз». На крыше их штаб-квартиры на Абби Роуд. Давненько. 30 января 1969 года. Наш патруль вызвали, чтобы согнать их с крыши: соседям не нравился шум. Нет, представляете, «Битлз» поют в последний раз, слушай и смотри на здоровье, ан нет, какой-то лошадиной жопе (перевод буквальный, мой. – В.П.) не нравится. Так что я вошёл в историю благодаря тому, что разогнал последний концерт «Битлз».

Он помолчал. И я что-то тихо пробормотал про Диану.

– Сожалею, сэр, увлёкся прошлым. Проект по реформированию монархии, начатый Дианой, состоялся. Она изменила лицо британской монархии.

Сказал, будто выучил наизусть положение из полицейского устава.

А ведь прав. До Дианы лицо это было надменным, снисходительным, суровым, не выражавшим страданий, боли и, тем более, сострадания. Оно было неизменным, отважным, всесильным, оно выражало презрение, торжество и множество иных чувств, но одного оно не выражало: человечности, говоря иначе, ранимости, слабости, страдания, любви, восхищения. А Диана всё это привнесла. Когда Англия утопала в слезах, стоя у ограды Букингемского дворца, когда вся площадь перед дворцом была покрыта ковром из десятков и сотен тысяч цветов, когда смерть «народной принцессы» оплакивала страна, не стесняясь своих эмоций, сами англичане удивились себе.



Только один человек упёрся, как английский бульдог, – королева Елизавета II, которая отказывалась дать приказ приспустить флаг в честь ушедшей принцессы. Но ей пришлось уступить, и флаг был приспущен.

Диана победила.

* * *

Мысль вдогонку.

Меня всегда занимало то, с каким плохо скрываемым волнением и восхищением мы встречаем титулованных особ. В странах, избавившихся к тому же от монархов не самым деликатным образом, в Америке, России, Франции люди с придыханием говорят: «Вчера на вечере познакомился с графом».

Много лет тому назад в Советский Союз вернулся граф Алексей Игнатьев, автор нашумевшей тогда книги «Пятьдесят лет в строю». На каком-то вечере он был представлен одной дамой как «бывший граф Игнатьев», на что он заметил: «Милая, бывших графьев не бывает. Это всё равно что сказать “бывший пудель”».

Может быть, в этом и заключается ответ? Может быть, это постоянство рода, которое тянется из века в век, переходит из поколения в поколение, может быть, эта неизменность нас пленяет, особенно на фоне нашего существования, когда нет постоянства, когда мало кто имеет представление о своём роде и даже затруднится использовать это слово применительно к себе?

На всякий случай: я – из баронского рода. Правда, не древнего, моего прапрапрадеда наградил баронством Наполеон. Род, повторяю, не древний. Но всё же…

Паб

Есть, по-моему, три вещи, без которых нет Англии. Они – самое английское из всего, что есть английского. Первая – это футбол и его болельщики, о чём речь ещё предстоит. Вторая – это чай, и к этой теме мы тоже вернёмся. Но сначала поговорим о третьей – это паб[30].

В ответ на вопрос «Что такое паб?» можно ответить коротко: это сокращение от слов «паблик хаус», что в буквальном переводе на русский означает «публичный дом». Но буквальный перевод, которым, кстати, грешат все компьютерные программы, часто страдает неточностью и лишён тонкости. Паб – это публичное питейное заведение, которое публично на самом деле, в отличие от публичных школ. Это название – public house – впервые появилось в конце XVII века и использовалось, чтобы отличить частные питейные заведения от публичных, которые были открыты для всех и каждого.

Задолго до этого, в 1393 году, король Ричард II заставил землевладельцев вывешивать щиты на своих питейных заведениях. Подписанное им распоряжение гласило: «Тот, кто станет варить пиво… с целью его продажи, должен вывешивать табличку, иначе он лишится своего эля[31]». Смысл указа – сделать пивные дома хорошо заметными для проезжающих инспекторов, проверяющих качество эля. Кстати, отец Уильяма Шекспира, Джон Шекспир, как раз служил таким инспектором.

Самюэль Пепис, человек, прославившийся в Англии дневником, который он вёл с 1660 по 1669 год, назвал паб «сердцем Англии». Если это так, то можно предположить, что по кровеносным сосудам англичан течёт пиво. Это, конечно, не так, хотя…

Англичане пили эль ещё до прихода римлян, двадцать с лишним веков назад. Сказать «пили» – это не сказать ничего. В 1577 году впервые было подсчитано количество питейных заведений в Англии и Уэльсе – это было сделано для максимального сбора налогов, но не ругайте сборщиков: кто бы ещё сохранил для нас, любителей древности, ценнейшие цифры и

факты, без которых мы бы многого не знали? То-то и оно! Так вот, согласно этим подсчётам, один паб приходился на 187 человек. А на карте справа отмечено количество пабов в одном из центральных районов Лондона в 1899 году.

В общем, англичане попивали пиво, ни о чём не ведая, пока им не предложили вместо эля джин. Случилось это в конце XVII века, и если вы думаете, что связано это было с соображениями здоровья или экономики, то ошибаетесь. В это время отношения между Британией и Францией были хуже некуда (что для этих двух стран дело привычное), как из-за политики, так и из-за религиозных разногласий, в связи с чем правительство его британского величества приняло ряд законов, ограничивающих импорт коньяка из Франции и поощряющих производство джина. В частности, было разрешено производить джин, не имея на то лицензии. Напиток был, во-первых, дешёв в производстве, а во-вторых, продавался за гроши, что сделало его любимцем неимущих и в результате чего страна потонула в джине. Эти времена запомнились так называемым «джинным безумством», «джиновым безумием».

К 1727 году из 15 тысяч питейных заведений Лондона более половины торговали исключительно джином. Об этом много написано, но изобразил ужасы всеобщего и беспробудного пьянства великий английский живописец Уильям Хогарт в своих гравюрах «Пивная улица» и «Переулок джина».

Власти перепугались не на шутку, они пытались ограничить потребление джина. Были приняты законодательные акты, которые, как сообщают нам, помогали как мертвому припарки, пока в 1830 году достопочтимые члены Парламента не приняли «Акт о пивных домах». Смысл его сводился к тому, чтобы создать более доступные, менее дорогие пивные дома. В соответствии с этим указом, любой домовладелец, заплатив две гинеи (сегодня это порядка 189 фунтов), получал право без лицензии варить и продавать пиво у себя дома.

Карта Лондона с указанием расположения пабов. XIX век

Ну, и как вы думаете, дело пошло? Посудите сами: за первый год действия указа открылось 400 пивных домов, а восемь лет спустя их в стране было 46000.

В дальнейшем в связи с промышленной революцией частные пивные дома стали превращаться в публичные, но только к XIX веку паб стал подлинным пабом. На этом я завершу экскурс в историю, но считаю своим долгом представить вам четыре черты, которые для паба обязательны и отличают его от всех других питейных заведений. Первое: паб открыт для всех без исключения, в нём нет членства, место жительства значения не имеет. Второе: можно заказать бочковое пиво или сидр, не заказав при этом еду. Третье: обязательно наличие хотя бы одного помещения, не рассчитанного на потребление пищи. Четвёртое: напитки разрешается заказать и оплатить у бара барной стойки (а не только за столиками).

То, что здесь рассказано, представляет фактическую историю появления паба. Но есть сторона не фактическая, сторона мистическая, психологическая, имеющая сугубо английскую суть…

Уильям Хогарт «Переулок джина». 1751

Питер Хейдон

Сидим в пабе, пьём эль. Добротный. Его собственного производства. Сокрушается:

– Стали меньше ходить в паб…

– Почему?

– Да потому, что бутылочное пиво дешевле. Его же производят десятками миллионов, а я каждую бочку выхаживаю, как любимую лошадь.

Ожидал, что скажет не «лошадь», а «девушку». И промахнулся в очередной раз. Любимая девушка – уж очень личная тема. Её при малознакомых – тем более иностранцах – не упоминают. Лошадь – дело другое.

– Значит, – говорю я, – пабу приходит конец?

Он смотрит на меня хитрым взглядом и говорит:

– Мы в своё время что только не упразднили – и церковь, и Парламент, и монархию, но от паба не отказывались. Никогда.

А ведь прав. За то, что Ватикан не давал ему развода, Генрих VIII отменил католицизм в Англии и запретил католическую церковь. Карл I отменил Парламент, который, в свою очередь, «отменил» Карла I, распорядившись отрубить ему голову. А паб как стоял, так и стоит и, если я что-нибудь понимаю в английской душе, стоять будет. Потому что паб – не просто место, где можно выпить, а место, в котором два совершенно незнакомых между собой англичанина могут разговаривать.

Трейси и Амбер Бёрди

Управлять пабом не женское дело. Уж больно там публика бывает неуправляемой, неуёмной, порой агрессивной. Так бы подумал любой не англичанин.

Но и Трейси, и Амбер – англичанки, и думают они иначе. И не только они. Пабу этому лет 350 («Эка невидаль», – скажет истинный лондонец), он всегда принадлежал одной семье («Ну и что тут такого?» – скажет всё тот же лондонец), управляли им как мужчины, так и женщины («Да уж, леди у нас такие, могут управлять чем угодно. Помните Маргарет Тэтчер?» – продолжит наш гипотетический лондонец).

Трейси старше, у нее замечательная улыбка и заразительный смех. Амбер – её дочь, блондинка, но не подумайте, что блондинка из анекдота. Соображает. Очень. Необыкновенно хороша. Тоже чудесно улыбается. Но стоит посмотреть и на Трейси, и на Амбер, когда кто-то из посетителей выйдет за рамки допускаемого. Мало не покажется.

Я наблюдал за ними в четверг вечером, часов в девять. Плотная толпа полностью забила помещение и высыпала на тротуар, но строго в пределах пространства, обозначенного двумя парами стоек, связанных красными канатами.

– Выходить за эти стойки с кружкой пива в руках нельзя ни справа, ни слева. За это штраф, – сказала мне Трейси, внимательно наблюдая за представителем Туманного Альбиона, явно выпившим лишнего и стоявшим в задумчивости около одной стойки.

– А штраф серьёзный? – спросил я.

– Очень, – ответила Трейси, – причём платить-то должны мы, а не нарушитель.

Амбер Бёрди

Боже мой, святая простота! Нарушившему правила посетителю вполне может быть плевать на размер штрафа, а вот хозяину заведения совсем не наплевать, ведь штраф-то будет не один, а множество, и поэтому хозяин зорко следит за подопечными и если что, то жёстко, хотя и предельно вежливо, приводит потенциального нарушителя порядка в чувство.

Я заметил, что народ и прибывал, и отбывал, то есть его общее количество оставалось постоянным, чего я не мог понять, пока Амбер не объяснила мне:

– Это паб-кролл[32]. Люди группами переходят из одного паба в другой, при этом часто они совершенно незнакомы.

– О да, – говорит Трейси, – в пабе вы встретитесь с теми людьми, с которыми не стали бы вообще разговаривать в обычной жизни.

Кейт Фокс

На английском слово «фокс» (fox) означает «лиса», и в этой женщине есть что-то лисье. Если бы у неё был длинный пушистый хвост, то кончик его постоянно бы нервно подёргивался. Во всём её облике и в манере говорить есть что-то такое, что в прежние времена описывалось как «нервическое», как то: «нервическое лицо», «нервический смех». И в самом деле, смех у неё – не смех, а смешок, такой маленький взрыв в конце каждого предложения, чуть похожий на икоту.

Она – археолог, но своеобразный. Вы не найдёте её на раскопках Древнего Египта или Ближнего Востока, потому, видите ли, что, с её слов, она предпочитает работать там, где есть электричество и канализация («ха-ха»). Она, понимаете ли, предпочитает культурное окружение варварству («ха-ха»). Поэтому она изучает в качестве археологического предмета… англичан («ха-ха»).

Встреча наша происходит в пабе, в котором её хорошо знают – это видно по тому, как бармен и тихо потягивающие эль клиенты здороваются с ней.

Почему в пабе? А вот почему:

– Паб – микрокосм английской культуры. Можно полностью понять и изучить англичан, не покидая паба. Англичанам паб заменяет врождённые навыки общения. Мы, англичане, нуждаемся в подобном подспорье, ха-ха. Мы удивительно социально беспомощны, ха-ха. Можно сказать, что мы страдаем социальным недомоганием, ха-ха. Мы замыкаемся в себе, в нас накапливается агрессия, буйство, и лечимся мы в пабе… Паб – это второй дом, ха-ха. Можно иметь очень много близких друзей в пабе, но при этом вы никогда не пригласите никого из них к себе домой. «Друзья из паба» – это абсолютно английская история. И это одно из выражений нашего английского лицемерия, ха-ха.

Вся эта речь, хоть и пересыпана множеством «ха-ха», совершенно не мешает мне считать, что среди всех рассуждений об англичанах, которые я слышал, это одно из самых тонких и метких.

– Ну, хорошо, – говорит мисс Фокс, – вы вошли в паб и хотите выпить пива (ха-ха). Что делаете?

– Ну, что делаю, – отвечаю я, – подхожу к бару и говорю

бармену: «Налейте мне кружку, ну, например, Гиннесса».

– То, что вы не англичанин, очевидно, но до ТАКОЙ степени (ха-ха)… Что ж, научу вас, – говорит она, – а потом мы с вами выпьем по пинте (ха-ха). Итак, вхóдите. За баром стоят несколько человек. Подходите не спеша. Если есть место, опираетесь локтем на стойку бара, держа большим и указательным пальцами несколько купюр. Бармен замечает вас. Если нет за стойкой места, просто ищете бармена взглядом – он обязательно заметит вас и поставит вас в очередь. Никого не пропустит. Наступит ваша очередь, он подзовёт вас и примет заказ.

– А если я просто войду и сяду за свободный столик?

– Будете сидеть до закрытия паба. Столики не обслуживаются. Получили свою пинту, садитесь за столик, если хотите (ха-ха-ха).

– А как быть с чаевыми?

– Вы смеётесь? В пабе чаевых не дают. В пабе, когда вы делаете заказ и вам хочется поблагодарить бармена, вы говорите, например, «Мне пинту лагера и одну для вас». Это значит, что бармен сможет, когда захочет, налить себе пинту за ваш счет (ха-ха).

– То есть вместо чаевых я оплачиваю не одну, а две пинты – одну мне, одну ему.

– Совершенно верно. И тем самым подчёркиваете, что вы равны. Чаевые – это для прислуги. А вместе выпить – это равные (ха-ха). Но вообще, всё у нас шиворот-навыворот, как в «Алисе в Стране чудес» (ха-ха). Ну что, выпьем (ха-ха)?

Чай

Много лет тому назад – может, двадцать, или даже тридцать, – когда я впервые попал в Англию, я к вечеру довольно утомительного дня оказался в совсем небольшом и на вид премилом городке: отдельно стоящие одно– и двухэтажные домики с покрытыми соломой крышами, с садиками и огородами – словом, образцово-показательном, можно сказать, выставочном примере Старой Доброй Англии (пишу каждое слово с заглавной буквы, чтобы отразить те эмоции, которые испытывает англичанин, говоря эти слова).

И вот, приметив здание, что показалось мне похожим на кафе, я попросил водителя остановиться[33]: уж очень хотелось крепкого душистого эспрессо. Было около пяти часов вечера. Я зашел в кафе, в котором не было ни души, и сел за столик. Ко мне подошёл седовласый джентльмен – именно так, джентльмен – и спросил:

– Что бы вы хотели, сэр?[34]

– Чашку кофе, пожалуйста.

Сказать, что седовласый джентльмен отшатнулся от меня, будет преувеличением, но описать выражение его лица затрудняюсь: такое бывает, когда мы становимся свидетелями чего-то противного – ну, человек вступил во что-то не то или сидящая рядом милая дама вдруг пукнула. Вот такое чуть гадливое удивление.

– Сэр, – сказал он, – у нас кофе не подают.

Ушел я с чувством, что совершил крайнюю бестактность.

* * *

Интересно, как бы отреагировал возмущённый моей просьбой джентльмен, скажи я ему, что чай впервые появился в Англии только в середине XVII века, более того, что с чаем познакомили англичан так называемые coffee houses, «кофейные дома». Напиток понравился, и к 1700 году в Лондоне его предлагали посетителям 500 «кофейных домов», что очень огорчало не только хозяев питейных заведений, но и власть: брать налог с чая было не совсем удобно. Впрочем, как нас учил римский император Юстиниан, деньги не пахнут. Британская монархия ввела пошлину на чай, которая к середине XVIII века достигла 119 % от стоимости самого чая (!!!). Таким образом породили новую индустрию: незаконный ввоз чая.

Корабли из Голландии и Скандинавии подплывали к берегам Британии, где их встречали рыбаки. Незаконный товар доставлялся на берег, а оттуда, по прорытым туннелям, в тайные склады, часто располагавшиеся в подвалах местных приходских церквей. Всё же беспределу наступил конец, когда в 1784 году премьер-министр Уильям Питт Младший снизил налог на чай со 119 % до 12,5 %.

За прошедшие годы Англия изменилась, кофе подают без вопросов. Но чай… Ну, как вам сказать, снова возникает аналогия с Японией, в которой чайная церемония может длиться пять-шесть часов, при этом рассчитано всё, начиная с того, как сидишь (подогнув под зад пятки, что для непривычного к этому способу сидения человека совершенно невыносимо), и кончая тем, как держишь чашку. Там нет вообще ничего случайного, расписано и утверждено всё, каждое движение. В Англии всё же не так, но чаепитие дело серьёзное и требует к себе пристального внимания.

– Никакого «файф-о-клок ти» нет и не было.

С этих совершенно ошарашивших меня слов начала свой рассказ о чае эта дама.

– Но как же так? – спросил не то Ваня Ургант, не то я. – Мы же все знаем, что в пять часов, то бишь в five o'clock, в Англии принято пить чай, мы это знаем с детства, а вы говорите…

– Да, джентльмены, вы, как и те, кто рассказывал вам эти истории, заблуждаетесь.

Ваня умолк (что с ним бывает нечасто). То ли от неожиданности, потому что его назвали джентльменом, то ли, как я, от удивления.

– Дело в том, – продолжала мисс Петтигрю, – что питьё чая во второй половине дня ввела Анна, 7-я герцогиня Бедфордская. Это было в начале 1800-х, она предложила чаепитие, чтобы заполнить перерыв между обедом и ужином, который в высшем свете не подавался раньше восьми часов вечера. Но ведь известно, что для многих привычки высшего света становятся предметом для подражания, и вскоре в рабочей среде это чаепитие стало называться «высоким чаем» (high tea), при этом он стал главной едой дня, как бы заменив собой ужин, потому что вместе с этим чаем подавались мясо, овощи, картошка и прочая еда.

– Скажите пожалуйста, – спросил я, – это «высокий чай». А есть ли «низкий чай»?

Мисс Петтигрю рассмеялась и ответила:

– Разумеется, хотя чаще всего мы называем его иначе, не низким, а послеполуденным (afternoon) чаем. Это и есть то, что придумала герцогиня Бедфордская. Она потом рассказывала, что между обедом и ужином часто чувствовала «пустоту в желудке», из-за чего однажды попросила прислугу принести ей в спальню чай, бутерброды и что-нибудь сладенькое. Ей это очень подошло, потом она как-то пригласила светских подруг на этот чай – снова в спальне – и дело пошло. То, что мы сейчас будем с вами делать, – это и есть то, что придумала 7-я герцогиня Бедфордская Анна.

Я пишу не кулинарную книгу, но считаю, было бы несправедливо скрыть от вас, что подают к послеполуденному чаю. Точнее, что получили мы: крохотные бутерброды (по-английски «пальчиковые») с огурчиками и мятой, яичный салат, кресс-салат, слабосолёную сёмгу с белым сыром, ветчину с горчицей; а на сладкое – бисквит королевы Виктории (лепёшки,

прослоенные густыми сливками и разного рода джемами).

В общем, ничего не могу сказать о 7-й герцогине Бедфордской Анне, но после такого чая, придуманного, чтобы «заполнить паузу» между обедом и ужином, мне совершенно точно даже думать об обеде не хотелось.

И еще некоторые важные… нет, что я говорю, важнейшие моменты.

Имейте в виду, что Англия делится на тех, кто наливает молоко в чай, и на тех, кто наливает чай в молоко. Не поняли? Повторяю: если вы в свою чашку наливаете чай, а потом наливаете немного молока, вы принадлежите к одной части Англии. Если вы, напротив, в чашку сначала наливаете немного молока, а потом чай, то принадлежите к другой части Англии, причём эти части непримиримые. Если вы в чай кладёте сахар или лимон, вы… как бы это выразиться поприличнее… варвар. Если вы не добавляете в чай ничего, то есть пьёте его без молока, вас можно только пожалеть.

Есть ещё целый ряд строжайших правил относительно того, как следует держать ложку, ножик, вилку, как следует резать пирожное, как пользоваться ложечкой, но я воздержусь. Когда будете в Лондоне, найдите мисс Джейн Петтигрю.

Она обучит вас.

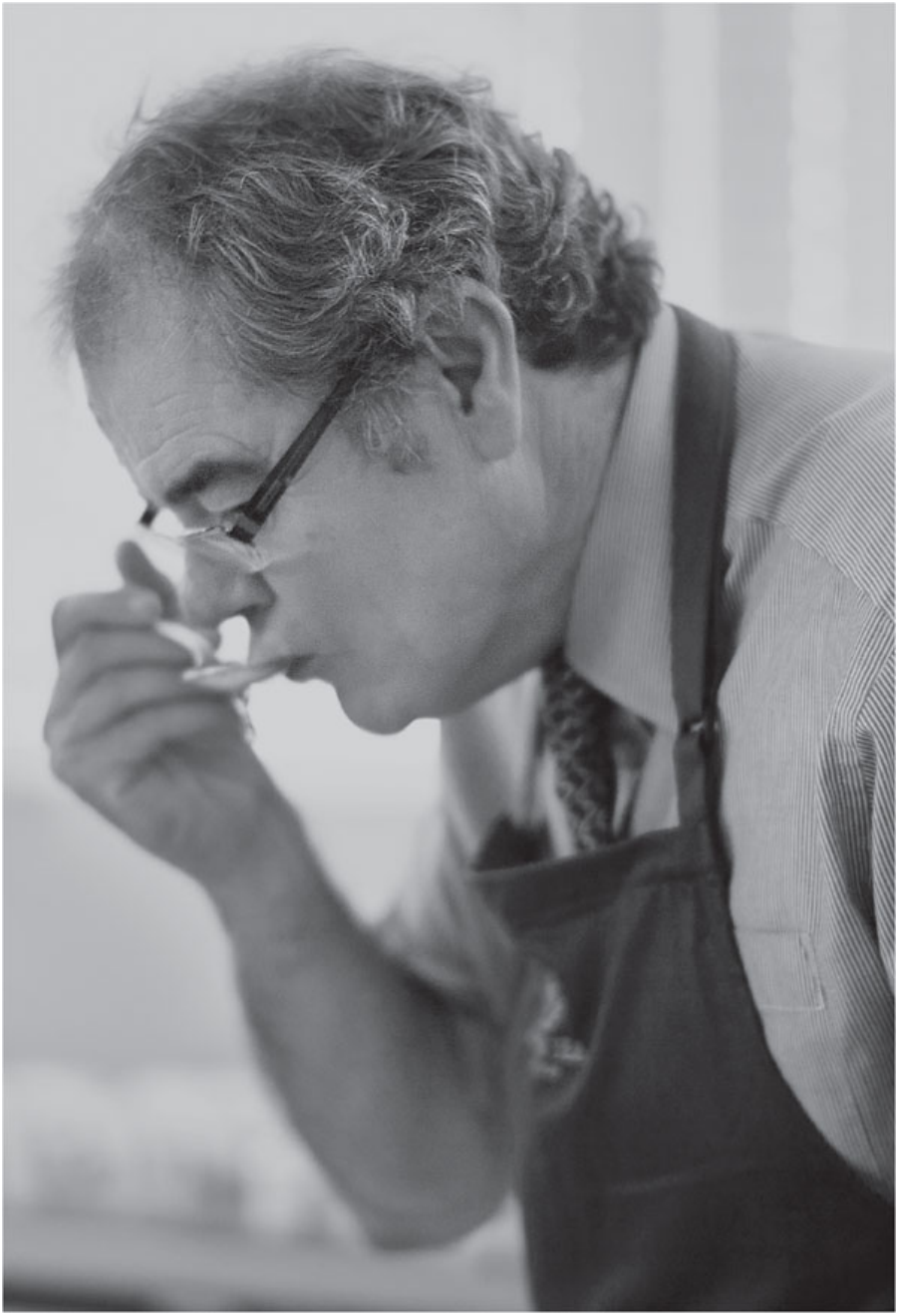
Уильям Маннинг

То, что в Англии есть профессия tea taster, дегустатор чая, меня удивило, но не сильно. В конце концов, чай – напиток с древнейшей историей, он бывает самых разных сортов, отличается не только внешним видом, но и запахом. Отличается чай и вкусом, поэтому наличие такой профессии логично.

Уильям Маннинг считается одним из наиболее тонко разбирающихся в деле определения вкуса и качества чая дегустаторов Англии. Tea taster отличается от дегустатора вина тем, что он не только даёт оценку чайному листу, но сам создаёт чай, смешивая разные листочки в разных пропорциях. Дегустатор вина не создаёт вино, а лишь даёт ему оценку. Поэтому, собственно, никто винного дегустатора не перекупает (хотя попытки подкупить его, чтобы получить более высокий балл, чем конкурент, случались), он не работает ни у кого – в отличие от дегустатора чая. В этом смысле последний похож на «нос» крупной парфюмерной фирмы: он нюхает, он сочетает и создаёт новые духи, и он – хранитель секретов.

Повторяю, меня эти сведения не сильно удивили. Но когда мистер Маннинг стал рассказывать мне о том, что во время Второй мировой войны в Великобритании было создано Министерство чая во главе с министром, я потерял дар речи.

– Но и это не всё, – продолжал он, – чайный запас страны был разделён на несколько огромных объёмов, которые были упакованы и затем увезены в секретные места, местоположение которых хранилось в строжайшем секрете. Чай был и остаётся стратегическим объектом Великобритании.



Жозе Моуриньо

Пишу об английском футболе только потому, что понимаю: Англия без футбола – это нонсенс. Но должен сразу сказать, что, хотя и люблю футбол (только хороший, даже очень хороший), не являюсь болельщиком. Есть команды, которые запомнились мне своей поразительной игрой, – сборная Бразилии, сборная Голландии, «Барселона», «Реал»… Были и есть игроки, мастерство которых вызывает моё восхищение, – Пеле, Гарринча, Круиф, Яшин, Стрельцов, Зидан, Месси… И конечно, бывает так, что я поддерживаю ту или иную команду – например, сборную Франции на Кубке мира в Москве. Но я не болею. Чтобы у меня менялось настроение от того, что выиграла или проиграла та или иная команда, да никогда в жизни! Ну, хорошо, девять человек – строго говоря, восемь – гоняют мяч по полю. Делают это изумительно. Так сказать, браво! Но чтобы это всерьёз повлияло на моё настроение…

Я пишу это, чтобы со мной вам всё было ясно: я не болельщик. Следовательно, говорите вы, мне не дано понять душу болельщика. Так? Нет, не так. Врач-психиатр не обязан быть душевнобольным (прошу простить за аналогию), чтобы понимать своего пациента.

В общем, так: в Англии болеют за одну и ту же команду поколениями. Значения не имеет, сильная это команда или слабая. Прадед болел за какую-нибудь «Манчестер Юнайтед», дед болел, отец болел, я болею, и мои дети будут болеть (их ещё нет на свете, но дела это не меняет). Это всё можно записать в рубрику «Английская верность».

В день игры радикально меняется состав пабов, потому что тот или иной паб становится временной принадлежностью болельщиков той или иной команды, например лондонского «Челси». И не дай бог туда зайдёт болельщик той команды, против которой в этот день играет «Челси», например «Арсенала». Впрочем, беспокоиться не надо: этого не случится никогда. Этот заблудившийся болельщик «Арсенала», пусть вусмерть напившийся и потерявший всякие представления не только о том, где он, но и вообще обо всём, в паб болельщиков «Челси» не зайдёт: таинственный внутренний компас направит его прочь и сохранит его тело и душу для той команды, успехами и неудачами которой жили его предки и будут жить его потомки. Это можно занести в рубрику «Английская традиция».

Подраться с болельщиками другой команды считается не просто делом почётным, но обязательным. В ход пускается всё, кроме ножей («Это, – с презрением скажет английский болельщик, – итальянское дело»): кирпичи, бутылки из-под пива, палки – словом, всё, что попадает под руку. Вместе с тем никакого «оружия» с собой заранее не берут. Это следует отнести

к рубрике «Фейр плей»[35]. Очень ценится, когда человек пять болельщиков твоей команды лупят одного-двух болельщиков другой команды. Это входит в рубрику «Английская отвага».

Исследуя тему «Английский футбол», я провёл не один час в трёх разных пабах в Лондоне («Челси»), Манчестере («Юнайтед») и Ливерпуле («Ливерпуль»). Впечатление грандиозное. Форма одежды не просто вольная, а часто весьма фривольная, особенно у дам, совершенно независимо от возраста. Объем выпитого эля посчитать сложно, но, думаю, его было бы достаточно, чтобы заполнить 25-метровый бассейн. Уровень громкости – в смысле голосов – напоминает что-то из самых трагичных и героических опер Вагнера.

Так при чём тут Жозе Моуриньо, справедливо спросите вы? Он ведь португалец. Это правда. Но, во-первых, из десяти лучших клубов Премьер-лиги 2019 года восемь возглавлялись иностранными тренерами. Во-вторых, давно миновали те времена, когда принадлежность клуба к стране предопределяла гражданство его игроков. Когда я пишу эти слова, команда-чемпион Премьер-лиги, «Ливерпуль», состоит на 69 % из неангличан. И это называется английский футбол?!

Правда, Моуриньо признался мне в том, что лучше английского футбола, лучше Премьер-лиги нет ничего. Когда я спросил его почему, он сказал:

– Я тренировал Бенфику. Как-то мы играли с Миланом, важная была игра, играли отвратительно, но выиграли. Вот я сижу хмурый в раздевалке, подходит ко мне капитан команды и говорит: «Что ты такой недовольный?» «Плохо играли, не заслужили победу», – говорю я. «Но победили же, вот что главное!» – говорит он и уходит довольный. В Премьер-лиге выигрыш – это очень важно, но это не главное. Главное – это как красиво, умно, классно сыграли.

А я подумал: что происходит с игроком, например всё той же Бенфики, которому важен только выигрыш, когда он переходит в английский клуб? Видимо, меняется.

Придётся это записать в рубрику «Английский дух».

Ворон

По зелёному газону лондонского Тауэра ходят во́роны. Ходят, потому что не могут летать. На завтрак, обед и ужин им подбрасывают дохлых мышей, которых они с аппетитом потребляют. Вороны не могут летать из-за короля Карла II, которому они порядком надоели, и он распорядился перестрелять этих наглых и громко каркающих птиц. Но вступился дворцовый визионер:

– Ваше величество, предание гласит, что английская монархия просуществует до тех пор, пока вороны буду жить в Тауэре.

Карл II, отцу которого, Карлу I, отрубили голову, был сильно суеверен, и судьба воронов была решена: они остаются в Тауэре навечно и, чтобы они никуда не улетели, им подрезают крылья.

Смотришь на них и думаешь об их сходстве с английской короной: почёт, уважение, уход, питание, но крылья-то подрезаны…

Фил Уилсон

Бифитер – буквально «едок говядины». Откуда это название – точно неизвестно. Мне нравится история о том, как в 1669 году Козимо Медичи, великий герцог Тосканский, посетил британский двор и, увидев королевскую стражу, заметил: «Им ежегодно выдают значительную порцию говядины, их можно было бы называть едоками говядины».

На форме у каждого бифитера вы увидите изображение розы с белой сердцевиной и алыми краями, которая символизирует приход к власти дома Тюдоров, сумевших прекратить Войну Алой и Белой розы, домов Ланкастеров и Йорков и создавших королевских телохранителей, будущих бифитеров, в 1485 году.

Ныне бифитеры выполняют сугубо церемониальную функцию, но их должность пользуется почётом, и желание стать одним из них испытывают многие.

Их всего 38 рядовых и один Старший – коим как раз является Фил Уилсон. Легко ли стать бифитером? Когда я задал этот вопрос, Уилсон слегка улыбнулся и сказал:

– Посудите сами. Во-первых, нужно обязательно быть военным в отставке в офицерском чине, быть награждённым медалью за образцовую длительную службу, срок военный службы должен быть не менее 22 лет, нужно сдать экзамен на чувство юмора (!), на сообразительность, на умение ориентироваться, наконец нужно соответствовать «списку обязанностей», состоящему из 21 пункта. Ну, как вам?

С одной стороны, эти джентльмены производят впечатление костюмированных участников бала, но, с другой – они представляют собой непрерывающуюся цепь, идущую из прошлого. Придя сюда и глядя на них, любой англичанин может почувствовать свои корни, и прошлое для него не просто оживает, а живёт без провалов, лакун и тёмных пещер. Кто что ни говори, но в этом что-то есть.

Что до чувства юмора, то Старший бифитер Филипп Уилсон не испытывает в нём недостатка.

Прогуливаясь со мной по двору Тауэра, он подвёл меня к месту казни – нечто, отдалённо напоминающее Лобное место на Красной площади, – где рубили головы высокопоставленным государственным изменникам, в частности Анне Болейн, второй

жене короля Генриха VIII. Её измена заключалась в том, что она никак не могла родить королю сына, к тому же он хотел развестись и жениться на другой (всего у него было шесть жён). Всем было понятно, что она ни в чём не виновата.

– Так как же её приговорили? – спросил я, придав своему голосу оттенок возмущения.

– В те времена, – без тени улыбки ответил он, – если вы хотели быть на стороне короля Генриха VIII, вы выполняли его желания. Сегодня, конечно, всё не так.

На территории Тауэра есть паб только для бифитеров, куда привёл меня мистер Уилсон. За столиками сидели несколько человек, но за одним, отдельно от всех, молча сидел один из королевских телохранителей.

– Это кто? – тихо спросил я.

– Как это обязательно бывает в Англии, кто-то с кем-то не разговаривает, – ответил мне Уилсон на полном серьёзе.

Аристократия

Аристократия всё еще встречается в Европе. Но… не кучно. Так, осколки. Принцесса такая-то, барон такой-то. Отдельно взятые особи. Кроме Англии. В Англии аристократ на аристократе и аристократом погоняет. Ну, немного преувеличил, но это не беда, это, между нами, аристократами, даже мило.

Они, английские аристократы, узнают друг друга не только по произношению, не только по одежде и тому, как её носят, но и по повадкам.

Эти фотографии относятся к занятию, известному под названием “The Shoot”, что можно перевести, как «Стрельба», но это не только не точно, это имеет мало общего с самим явлением. “The Shoot” – это когда разного рода милорды собираются компанией пострелять птиц. Заметьте, я не написал «поохотиться», и это потому, что никакой охоты здесь нет.

Одевшись в соответствующие занятию наряды (смотрите, как они похожи друг на друга), прихватив дорогущие «стволы» и в сопровождении прислуги, которая будет эти самые «стволы» перезаряжать, когда в этом будет нужда, вся эта гоп-компания садится в микроавтобус, который отвозит их к месту… расстрела. Джентльмены становятся на нумера и смотрят в сторону густых кустарников, расположенных метрах в трёхстах. Раздаётся громкий свист, возвещающий о том, что «The Shoot» начался, и со стороны кустарников раздаются звуки – трескотня, хлопки, – цель которых напугать птиц, гнездящихся там сотнями, если не тысячами. Напуганные птицы взмывают вверх и летят прямо в сторону «охотников», а те поднимают «стволы», и – «ба-бах!», «ба-бах!», «ба-бах!» – стреляют, и подбитые ими птицы дождём падают на землю. Это просто убийство.

Продолжается это с небольшими перерывами, во время которых великолепно обученные кокер-спаниели собирают подбитых птиц, как ещё трепыхающихся, так и убитых, и приносят их прислуге.

После успешной «охоты» всех отвозят в охотничий домик, где их ждут жареные сосиски и особый напиток, который, как мне

показалось, состоял из шампанского и водки (неужели наше родное «Северное сияние» на самом деле вовсе не наше изобретение?). Один из лордов опустил указательный палец в сосудик, наполненный птичьей кровью, подошёл ко мне и начертил мне кровавый крест на лбу со словами: «Теперь, Владимир, ты посвящён в доблестный клан шутеров».

Король Карл I

Холодно было в этот вторник, очень холодно. Не было в этом ничего особенного, как-никак, 30 января. Год был давний – 1649-й, – тогда не было смартфонов, некому было сфотографировать или записать последние слова короля Карла I.

Его не любили. Он отличался надменностью, высокомерием и жестокостью. Росту был совсем маленького – 157,5 см – и потому, возможно, норовил отсечь головы тем, кто был выше него. Особенно тем, кто с ним не соглашался. Из-за него родилось выражение “Stand up and be counted” («Встань, чтобы тебя посчитали»), которое было адресовано членам Парламента при голосовании. До Карла голосовали сидя, простым подниманием рук, но это не позволяло разглядеть, кто именно и как именно голосует. Принцип «Встань, чтобы тебя посчитали» решал этот вопрос, король мог разглядеть и запомнить своих противников. Впрочем, с 1629 по 1640 год Карл управлял страной вовсе без Парламента – уж больно он ему мешал. И когда власть захватил Оливер Кромвель, стало понятно, что дни короля сочтены: он был судим и приговорён к смертной казни.

И вот в этот холодный январский вторник он собирался выйти из башни, в которой содержался, прямо на эшафот. Но перед тем как выйти, он попросил, чтобы ему дали шерстяную кофту. Король якобы сказал:

– От холода я могу начать дрожать, подумают, что от страха, а я не боюсь. Дайте кофту!

В музее города Лондона эта кофта хранится по сей день. Когда её достали и показали мне, я почувствовал сострадание к королю. Я представил себе этого маленького, не в меру горделивого и неприятного человека, думавшего не о скорой смерти, а о том, чтобы не умереть трусом в глазах публики, который твёрдо, не терпящим возражений голосом приказал:

– Дайте мне кофту!

Лорд Падди Кланушльям

Помню, когда снимал фильм о Франции, был приглашён на охоту, после которой состоялся ужин в аристократическом кругу. Делились сокровенным, в частности тем, что высшее образование не только не нужно всем, но даже вредно.

– Кто будет убираться, обслуживать, если у всех будет высшее образование? – возмущались потомки людей, некогда управлявших Францией.

А вот что сказал мне насчёт образования (правда, школьного) лорд Падди:

– Вы никогда не сможете дать самое лучшее образование всем. Не люблю слова «низший класс», но он есть. Это те же люди, на которых мы полагались сотни лет в том смысле, что они готовы в любой момент броситься нам на помощь. Они всегда были нашими лучниками, сражались бок о бок с аристократией. Они и есть наш британский бульдог.

Чуть высокомерные и снисходительные слова о бульдогах оставим на совести милорда, но вот к рассуждению о том, что дать всем самое лучшее образование невозможно, стоит присмотреться.

Есть две точки зрения. Одна говорит, что роль школы – создавать элиту. Она должна работать так, чтобы потенциальные «бульдоги» попадали в соответствующие их умственным и прочим данным учебные заведения, а потенциальная элита имела свои, элитные. Главная, на мой взгляд, слабость заключается в том, что поступление в эти школы связано с деньгами, и немалыми, а вовсе не со способностями будущего ученика. В результате дверь захлопывается перед теми, кто мог стать элитой в лучшем смысле этого слова, а это оборачивается потерей для страны. Нарушается одна из основ демократии: равенство возможностей.

Другая точка зрения, которая получила конкретное воплощение во французской школьной системе, основанной Наполеоном: все школы работают на основе единой национальной программы образования, которая предоставляется всем без исключения бесплатно. Таким образом двери школы широко открыты для всех, что позволяет, хотя бы теоретически,

отобрать самых способных и создавать элиты, основываясь на меритократии, когда лучшие заслуженно получают лучшее.

Англия традиционно исповедует первую точку зрения, Франция – вторую. Я имел возможность сравнивать французов с англичанами, поскольку много бывал в обеих странах и со многими знаком. Пришёл я вот к какому выводу: элита и в одной и в другой вполне сравнимая. А вот «бульдогов» во Франции нет. И это, безусловно, заслуга системы образования.

Удивительно, что в стране, произведшей на свет Великую хартию вольностей, народ не просто мирится с положением «их бульдогов», но даже гордится им. Я попробовал представить себе, как отреагировал бы так называемый «простой француз» на то, что его назвали бы «нашим бульдогом» – ну, пусть не бульдогом, они не слишком во Франции популярны, но, скажем, «нашим пуделем».

Замечу мимоходом, что советская система школьного образования была списана с французской и во многом была отличной, если не считать засилья идеологии, которая учила ребёнка не КАК думать, а ЧТО думать.

* * *

– Скажите, лорд Клануильям, какова, на ваш взгляд, главная черта англичанина, как лорда, так и рядового члена общества?

Он ответил, не задумываясь ни на секунду:

– Толерантность, благодаря которой мы прославились как нация.

И, знаете, он прав. Я вспомнил, как во время наших съёмок в Лондоне, в прекрасный солнечный день (столица ими не избалована) мы с Иваном устроили пикник. Мы расстелили скатерть на газоне одного из лондонских парков, а их в Лондоне множество и все они совершенно прекрасны, и стали выкладывать из большой соломенной корзины всякого рода еду. Чувствую ваше удивление: «Как это на газоне? Разве можно на газоне устраивать пикники?» Отвечаю: да, можно, на английских газонах можно всё – устраивать пикники, спать, играть в футбол и ходить до одурения. Замечательному чешскому писателю Карелу Чапеку принадлежит рассказ о том, как он, будучи в Лондоне, поразился великолепным газонам, по которым прохаживались гуляющие, и спросил работника парка, в чём их секрет.

– Никакого секрета, сэр, – ответил работник, – нужно стричь-поливать, стричь-поливать, стричь-поливать каждый день, и так триста лет.

Возвращаюсь к нашему пикнику.

Итак, мы всё разложили, операторы расставили камеры, и начались съёмки. Напоминаю, что был прекрасный, тёплый солнечный день, было время обеденного перерыва, кругом сидели, лежали, прохаживались люди. Вы думаете, хоть один человек обратил внимание на киносъёмки? Вы думаете, хотя бы один человек взглянул в нашу сторону? Проявил хоть какое-то любопытство? Ничуть не бывало. У меня просто сложилось такое ощущение, будто мы прозрачны, нас не видно. НО это и было проявлением английской толерантности, и это, скажу вам, совершенно прекрасная черта, которую я не встречал ни у одного другого народа.

Лорд Марк Полтимор

– Что значит «вести себя как лорд»? Это значит, например, не чавкать, не класть локти на стол. Это значит одеваться небрежно, но не броско, говорить негромко, но ясно, это некое поведение, которому обучают каждодневно, а вот описать его очень трудно.

– Скажите мне вот что, милорд, – говорю я в ответ на его слова, – жил-был в России один учёный. Вскоре после большевистской революции его посадили, но, ко всеобщему удивлению, он дождался реабилитации. Звали его Дмитрием Лихачёвым, он был выдающимся ученым-филологом. Однажды я был на его лекции, после которой он отвечал на вопросы аудитории, и я никогда не забуду, как он ответил на вопрос: «Скажите, Дмитрий Сергеевич, почему у нас так не любят интеллигенцию?» «Видите ли, – ответил он, – это объясняется легко: можно притвориться богатым, влиятельным, чемпионом каким-то, но интеллигентом притвориться невозможно. Интеллигента видно сразу, либо он есть, либо его нет. За это и не любят. Завидуют». Скажите, милорд, применимо ли это рассуждение к аристократам?

– Отчасти безусловно. Мы узнаём друг друга на расстоянии, и нас узнают. Но нам не завидуют. Я даже позволил бы себе сказать, что нас любят. Нас считают неотъемлемой частью Англии и совершенно не хотели бы, чтобы мы, например, исчезли.

– Но нет ли во всём этом некоторого лукавства, элемента игры?

Марк смотрит на меня с высоты своего двухметрового роста, хитро улыбается и говорит:

– Больше всего на свете мы, англичане, любим играть.

– А лично вы, лорд Марк Полтимор, что любите больше всего?

– Я больше всего люблю стрелять птиц.

Стифен Фрай

Это совершенно точно самый яркий человек, которого я встретил в Англии – и не только. Я хотел бы привести несколько его высказываний, которые удивительным образом раскрывают не только его, но и Англию. Однако предварю их некоторой информацией:

* Стифен Фрай – блестящий актёр кино и театра;
* Стифен Фрай – талантливейший режиссёр;
* Стифен Фрай – замечательный писатель;
* Стифен Фрай страдает биполярностью, не раз пытался покончить с собой;
* Стифен Фрай бесподобно владеет английским языком, как устным, так и письменным;
* Стифен Фрай обладает изумительным чувством юмора;
* Стифен Фрай – гей, который открыто и жёстко вступает в беспощадные диспуты с гомофобами.

Итак:

«Я очень интересуюсь зоологией. Существует 480 видов животных, которые проявляют признаки гомосексуального поведения, но только один вид на земле, который проявляет гомофобию. Спрашивается, который из них нормален?»

Парадоксально, конечно, но точно. Гомофобия, как многие другие фобии, выработана у человечества в основном религиями, которым представление о терпимости совершенно чуждо.

«Телевидение – в качестве национального камина, сердца и очага страны, сосредоточения нашей коммунальной культурной идентичности, – это телевидение наверняка умерло. Вряд ли оно вернётся когда-либо. Вместо того чтобы быть камином для нации, ТВ стало чем-то вроде центрального отопления. Оно удобно, включено во всех комнатах, оно менее заметно, не центр внимания, больше являясь общей частью атмосферы».

Замечательный и ушедший в вечность образ: ТВ как домашний очаг. А ведь это было, и не так уж давно. Во всяком случае, я хорошо помню, как семьи собирались вечерами у экранов и вместе смотрели любимые программы. В этом смысле телевидение объединяло. Оно было, если можно так выразиться, добрым. А ныне оно стало куда более разъединяющим и злым.

Сегодня модно говорить о том, что Интернет убьёт ТВ. На это хочется ответить: ну, да, точно так же, как ТВ убило кино и театр.

«Я люблю Британию, как большинство британцев, я страшно расстраиваюсь из-за её провалов, когда что-то получается не так. Когда ну совсем-совсем не получается, когда получается дрянь, бездарно, некомпетентно, невежливо, вульгарно, постыдно, когда всё сваливается в национальную спячку либо вскипает, мгновенно превращаясь в постыдную национальную лихорадку. Я могу стонать по поводу сошедших с ума здравоохранения и безопасности, по поводу засыпанных листьями рельсов, наших железных дорог, дерьмового обслуживания, дерьмовой погоды, дерьмовых спортивных достижений, дерьмовых политических деятелей, дерьмовых газет и дерьмового отношения ко всему. Всё это я могу. Более того, это и есть то, что более всего определяет британскость моего характера – жаловаться и заниматься самобичеванием. Но разве это значит, что я не люблю эту чёртову страну? Разве это значит, что у меня не появляются на глазах слёзы, когда я думаю о её истории, народе, природе, богатстве, многообразии, культурной и артистической энергии, доброй воле, толерантности, способности поворачиваться к добру, хоть и до боли медленно? Разве это означает, что я как бы не стою по стойке “смирно”, когда думаю о жертвах наших военных, самоотверженной работе всех тех, кто трудится в больницах, в школах и в службах спасения, о позабытых миллионах добропорядочных и товарищеских поступков, которые совершают каждый день никем не упомянутые герои и героини во всех областях жизни? Конечно же нет, не означает, что я не люблю, не уважаю всё это. Человек придирается и критикует, потому что любит».

Тот, кто по-настоящему любит свою страну, реагирует прежде всего на её недостатки и проблемы. Вспомните моего любимого Лермонтова:

> Прощай, немытая Россия,
> Страна рабов, страна господ,
> И вы, мундиры голубые,
> И ты, им преданный народ.

Когда всё хорошо, любящий свою страну не размахивает флагом, не орет «Вперед! Вперед!», а чаще всего принимает это как должное с чувством гордости. А когда не хорошо, тогда ругаются. И есть люди, которые воспринимают это как нелюбовь к стране, как отсутствие патриотизма. Люди ограниченные, тупые, чаще всего путающие любовь с шовинизмом.

«Гибель Дианы открыла миру нашу сентиментальность, которой у нас не должно быть, должна быть жёсткая верхняя губа[36]. В этом есть бессмысленность, помпезность, но если всё это отнять, что мы получим? А так история остаётся живой, есть связь с прошлым. У вас есть Красная площадь, у китайцев есть площадь Тяньаньмэнь, есть много других, но у нас есть Букингемский дворец, мы видим его и ощущаем счастье, хотя понимаем, что всё это смешно».

«Главное в англичанине или англичанке – смущение. Не привлекать к себе внимания – самое сердце, суть характера англичанина. Знаете историю об англичанине, который на верблюде пересекал пустыню? Шёл, шёл и вдруг вдали увидел, что навстречу ему на верблюде едет человек. Он стал мучительно ожидать, когда они поравняются, когда надо будет сказать какие-то слова, и по мере того, как они сближались, он чувствовал себя всё хуже и хуже, но вот они сошлись, и – о счастье! – тот тоже оказался англичанином, и они смогли пройти мимо друг друга, кивнув головой и не сказав ни слова».

Ах, как же это точно! Я замучился, пытаясь определить одним словом, что главное в англичанине, что делает его англичанином, и не смог. А Фрай попал в яблочко: смущение. Оно, это смущение, проявляется в двух крайних выражениях: в молчании, неумении поддерживать социальные контакты или в безобразном пьяном разгуле, который не знает границ.

«Две самые великие фигуры Англии XX века – Агата Кристи и Уинстон Черчилль. Оба были только наполовину англичанами»[37].

Интересно…

Джереми Паксман

С тех пор как я интервьюировал Джереми Паксмана, прошло лет восемь, и он ушёл с телевидения. Но тогда он был фигурой номер один на «Би-би-си» – ведущий вечерних новостей, как говорят французы, crème de la crème. Пробиться к нему было невозможно. Его помощница не реагировала ни на какие мои просьбы хотя бы сообщить ему о моём звонке, тем более что у меня с ним была предварительная договорённость о встрече. «К сожалению, Джереми слишком занят». Но я всё-таки сумел найти его мобильный номер и дозвониться, и – что вы думаете? – Паксман тут же, без всяких уговоров, согласился на встречу.

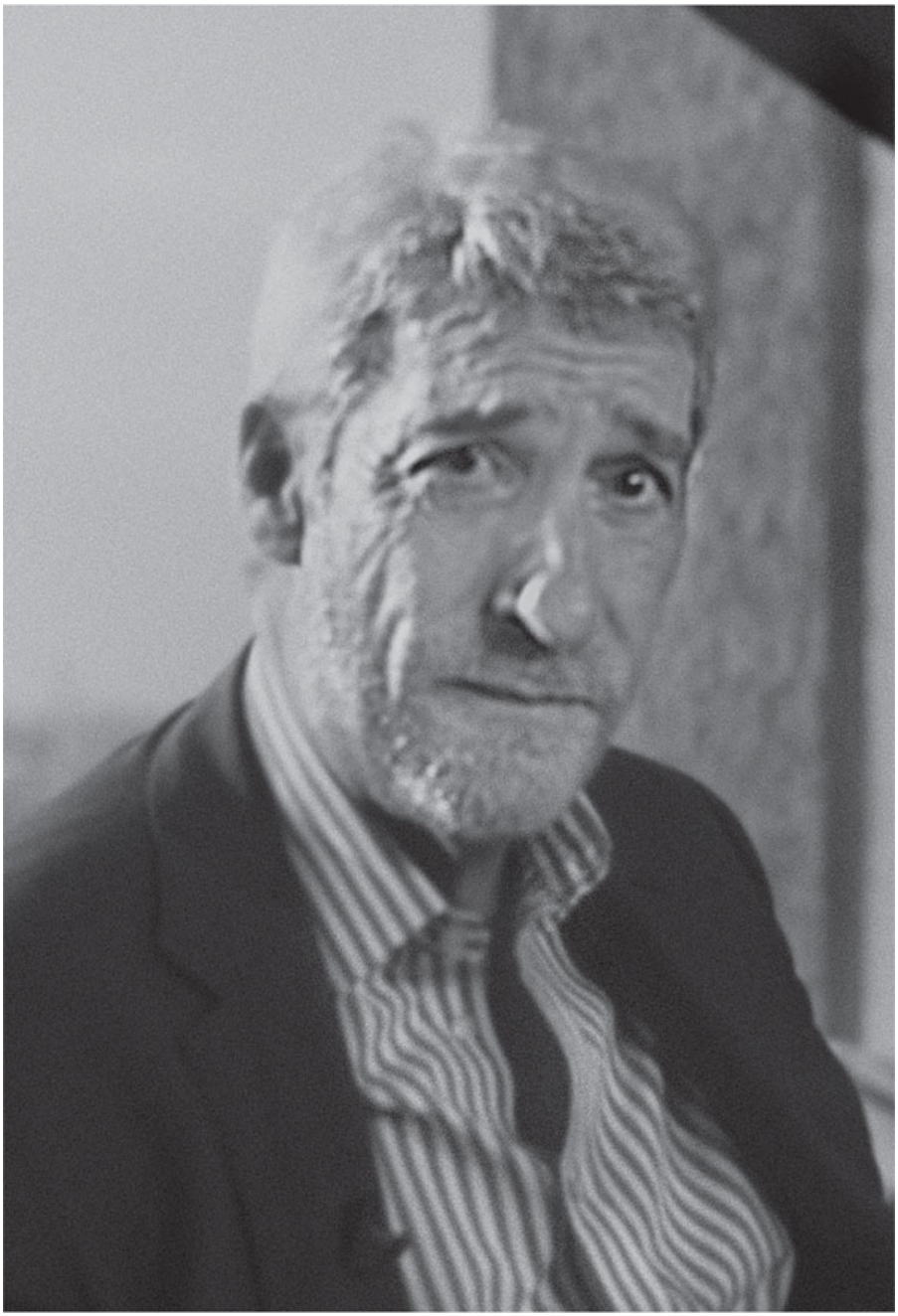
Любопытное наблюдение: взять интервью у великих мира сего не сложно… если сумеете пробиться к ним. Они, как правило, любезны и легко идут навстречу. Но пробиться к ним почти невозможно. Они окружены несколькими оборонительными линиями, состоящими из людей, задача которых и заключается в том, чтобы не допускать никого до «тела».

Именно Паксман был тем человеком, который, услышав, что я пытаюсь докопаться до того, кто такие англичане, чуть насмешливо протянул:

– Ну-у-у, когда докопаетесь, дайте знать.

Потом, чуть подумав, сказал:

– Когда граница вашей страны проходит по земле, вы привыкаете к тому, что надо постоянно учитывать интересы тех, кто живёт по ту сторону этой границы. Нам, англичанам, никогда не приходилось это делать. Нам не свойственно думать о том, как отреагирует на наши действия «сосед». Потому что у нас никогда не было и нет соседа.



Я не то что пропустил эти слова мимо ушей, но не придал им тогда должного значения. И совершенно напрасно. На самом деле, народ, которому незнакомо само понятие «границы», отличается от всех прочих, воспринимает себя иначе, смотрит на мир другими глазами. В этом смысле сходство, которое я нахожу между англичанами и японцами, не случайное: и те и другие –

островитяне.

Иммиграция

Это самый большой в мире карнавал. Ему чуть больше шестидесяти лет, и ежегодно он собирает более миллиона людей всех оттенков цвета кожи, от чёрного до белого. История его зарождения нетривиальна.

После окончания Второй мировой войны и развала Британской империи в поисках лучшей жизни и работы в Англию хлынули сотни тысяч иммигрантов из бывших колоний.

Перед ними широко открыли двери. Как сказал мне высокопоставленный представитель английского Форин-офиса[38], из-за чувства вины. Это была, как уточнил он, расплата за колониализм.

Благородно, конечно, но далеко не все англичане испытывали это чувство. Льготы и особые условия, которыми встречали приезжих, вызывали недовольство, раздражение, порой гнев. Приезжим отказывались сдавать квартиры. То и дело в окнах можно было увидеть объявления «Сдаётся. Кроме собак и цветных». К середине пятидесятых годов напряжение в отношениях между иммигрантами и белыми англичанами вылилось в расистские беспорядки и погромы. В ответ на это родился карнавал, придуманный и осуществлённый иммигрантами с Карибских островов, карнавал, призывающий к единству.

* * *

Почему человек эмигрирует, бросает страну, в которой он родился и вырос, зачастую оставляя родителей и близких

навсегда? Есть очевидные, простые ответы, как то: из-за нищеты, невозможно тяжёлых условий жизни, преследований политических, преследований религиозных, либо, наконец, из-за войны. Но есть ответ куда более сложный: человек обеспечен, живёт в прекрасных условиях, не подвергается никаким преследованиям, время вполне мирное, но он уезжает просто потому, что невмоготу там жить. В связи с этим я вспомнил старый советский анекдот о том, как в райком партии приглашают профессора, доктора наук Гольдберга в связи с тем, что он подал документы на отъезд в Израиль.

Секретарь райкома спрашивает:

– Почему вы решили уехать? Может быть, не устраивают условия работы?

– Нет-нет, условия прекрасные.

– Может, мало платят?

– Ну что вы, платят очень хорошо.

– Может, тесновата квартира?

– Квартира отличная, просторная.

– Может, дети не устроены?

– Напротив, у них всё хорошо, как у сына, так и у дочери.

– Так чего тебе надо, жидовская морда?!

В случае с СССР эмиграция в основном была еврейская и объяснялась «пятым пунктом» и всем, что было связано с ним. Она легко объяснима. А как объяснить то, что когда отъезд из страны стал доступным для всех, за рубеж рвануло несколько миллионов человек? По-видимому, невмоготу было не только из-за пресловутого «пятого пункта». Написав это, я вдруг подумал, что напрасно использовал прошедшее время.

* * *

Иммиграция – явление относительно новое и поначалу исключительно европейское. Хотя и в давние времена люди переезжали с одного места на другое, но до открытия Нового Света массового бегства из одной страны в другую не существовало. Первая волна хлынула из Ирландии, откуда люди бежали, гонимые страшным голодом, беспросветной нищетой и жестокими репрессиями со стороны Англии. Это было в середине XIX века. Вслед за ними покинули свою только что объединившуюся страну итальянцы: за два последних десятилетия XIX века их уехало четыре миллиона человек, около десяти процентов населения тогдашней Италии.

Оставляя для более эрудированных в этом вопросе экспертов

историю эмиграции/иммиграции, хотел бы обратить ваше внимание на то, что вплоть до середины XX века эмигранты были, за редким исключением, европейцами. Это были люди, если говорить широко, одной культуры, схожей истории, одной религии. Попав в другую страну, они сталкивались с враждебностью, несправедливостью, образовывали свои этнические анклавы, но через поколение или два ассимилировались, становились полноправными членами общества. Словом, из «чужих» они становились «своими».

Перечисляя причины эмиграции, я не назвал одну, имеющую, на мой взгляд, важнейшее значение: развал империи. В XX веке их развалилось пять: Австро-Венгерская, Российская, Французская, Британская и Советская.

Австро-Венгрия прекратила своё существование из-за поражения в Первой мировой войне. Особой эмиграции это не вызвало, зато появилось несколько искусственно образованных стран – Чехословакия и Югославия, которые впоследствии распались, в случае Чехословакии мирно, в случае Югославии – самым кровавым образом.

Гибель Российской империи ознаменовалась бегством из страны более миллиона человек, но это были – и я не устаю обращать внимание читателя на это – европейцы. Для жителей европейских стран и Америки, куда они эмигрировали, это были иностранцы, но не чужаки.

После Второй мировой войны Франция пыталась удержать свою колониальную империю войной в Индокитае и Северной Африке. В обоих случаях она потерпела поражение. Англия поступила умнее. Будучи банкротом в результате войны и понимая, что она не в силах удержать империю, «над которой не заходило солнце», Англия подарила своим колониям независимость, избежав таким образом кровопролития и неизбежного разгрома.

И вот из бывших колоний в метрополии хлынули сотни тысяч людей. Людей голодных, людей нищих, людей, жаждавших тех же благ, что и их бывшие хозяева.

Но: все эти люди не были европейцами.

Все эти иммигранты из Индокитая, Северной, Западной и Центральной Африки, Карибского бассейна, Индии и Пакистана, все они были чужие: совершенно непонятные языки, вызывающие подозрения религии, другая история, другие культуры, иные традиции, понятия, нормы и, может быть, главное – другой цвет кожи, другой разрез глаз, другой вид волос. Если любой европеец мог и может раствориться в любой европейской стране и в Америке, то эти люди всегда будут «вытарчивать».

Чувство вины, о котором я уже писал, легло в основу не только британской иммиграционной политики, но в еще большей степени – французской. Вместе с тем общество оказалось совершенно не готово к приёму этих людей. Сложилось странное положение, при котором иммигрантам оказывают особое внимание, предоставляют разнообразные льготы, но реальность сопротивляется их вхождению в тело страны.

Вспоминаю встречу, которая состоялась, когда я делал фильм о Франции. Это было в Марселе, городе, в котором больше всего выходцев из Северной Африки. Я брал интервью у семьи из Алжира. Глава семьи, мужчина лет сорока с небольшим, был сыном иммигранта, родился в Марселе, окончил лицей, служил в армии, работал. Француз? Когда я спросил его об этом, он ответил:

– Нет, понимаете, мне не дают почувствовать себя до конца французом.

Может быть, более всего показательно то, что ответил его семилетний сын на замечательный вопрос, который задал ему Ваня Ургант:

– Если будет играть сборная Франции по футболу против сборной Алжира, ты за кого будешь болеть?

Не задумавшись ни на секунду, мальчик ответил:

– За Алжир.

* * *

А вот два других случая, с которыми я столкнулся в Англии.

Я обедаю с английской семьёй. Речь заходит об иммиграции, и старший сын, которому лет тридцать, говорит:

– Представляете, тут один представитель арабской общины приходит к нашему мэру с жалобой. Им, видите ли, мешает звон колоколов нашей церкви, когда муэдзин произносит с минарета мечети свою молитву. Это, чёрт возьми, наша страна, у нас своя религия раз вы приехали сюда, будьте любезны жить по нашим правилам! Не нравится – уезжайте, откуда приехали.

Другой случай. Английский чиновник рассказывает мне:

– Приходит ко мне иммигрант из Индии. Крайне возмущён. Говорит, что, согласно их правилам, женщину, которая изменила своему мужу, сжигают заживо, а здесь, в Англии, делать это не дают. Я ему ответил, что, согласно нашим законам, того, кто кого-то сжигает живьём, мы вешаем. Такие у нас правила.

* * *

Я преднамеренно не пишу о религиозном экстремизме, об исламском терроризме, поскольку это отдельная тема, которая хотя и связана с иммиграцией, но не является её составной частью.

Скажу лишь, что мечта о мультикультурализме представляется мне не только нереальной, но и основанной на ошибочном представлении о человеческой природе.

Чарльз Бейли

Его родители приехали в Лондон с Ямайки в 1954 году. Сам он успешный музыкант. Сразу повёл меня в свою домашнюю студию и стал сочинять песню “Welcome to the U.K., Mr. Pozner!”[39], музыкальный строй которой дышал Карибами.

Семья успешная. Его мать – социальный работник, которая за свои труды получила орден из рук самой королевы Елизаветы II. Младшая дочь занимается философией, мечтает написать книгу, которая «спасет мир», старшая пишет докторскую диссертацию о ВИЧ/СПИДе. Всё хорошо?

– Знаете, – говорит одна, – всё неплохо, но нам не дают забывать о том, что мы чёрные. Например, в магазине местный охранник с особым вниманием следит за мной, провожает меня вплоть до кассы – как бы я что-нибудь не украла. Чёрная – значит, воровка.

– Или вот ещё, – говорит Бейли, – если ты чёрный и едешь в электричке или в автобусе, с тобой всегда будет свободное место, никто не сядет. Чёрный же. Чёрт его знает, что выкинет. Правда, – добавляет он с усмешкой, – в этом есть плюс: рядом свободное место, можешь положить сумку.

Самым неожиданным для меня был ответ Бейли на мой вопрос, как он относится к иммиграции.

– Отношусь к массовой иммиграции плохо. В основном это люди, которые приезжают сюда, чтобы доить эту страну. Из-за них резко вырос расизм. Когда мы приехали, в середине пятидесятых, расистами были процентов двадцать местного населения, а сейчас их процентов шестьдесят.

Сэр Эндрю Грин

Помню, как я обратился к послу Великобритании в РФ, сэру Тиму Барроу, с просьбой оказать нам помощь в получении интервью у ряда людей в Англии, на что он попросил дать ему поимённый список. Это было сделано без промедлений, и вскоре я получил звонок – уже не помню ни имени, ни должности, но, безусловно, высокопоставленного дипломата, которому Барроу поручил заниматься этим делом. Наша встреча состоялась через несколько дней.

Дипломат был безупречен, приветлив, выказывал все признаки уважения и готовности помочь, хотя время от времени сквозила лёгкая тень обеспокоенности относительно моих намерений: я и в самом деле стремлюсь к созданию объективного фильма об Англии и англичанах? Или?..

Я попытался заверить его в том, что его сомнения в искренности нашего предприятия напрасны, но вряд ли преуспел: дипломатам свойственно недоверие в такой же степени, как лягушкам в брачный период свойственно квакать.

Тем не менее он пообещал всяческую помощь, правда с оговоркой («Вы понимаете, что мы не всесильны…»), вернул мне список и сказал:

– Есть к вам одна просьба.

– Какая? – поинтересовался я.

– Если вас не затруднит, то уберите из списка вот этого человека.

Он кончиком наточенного карандаша притронулся к имени, стоявшему пятнадцатым (почему помню это, понять не могу) в списке: сэр Эндрю Грин. Я вопросительно посмотрел на него.

– Видите ли, – сказал он, – это у нас такая просьба. Но, разумеется, это на ваше усмотрение.

Для меня это никоим образом не представляло затруднения: не ответив ему ни да ни нет, лишь приняв сказанное к сведению, я не брал на себя никаких обязательств, но как журналист я знал, что сделаю всё возможное, чтобы встретиться с сэром Эндрю. Уж коль скоро официальные лица просят меня не встречаться с ним, значит, он чем-то очень интересен.

Встреча состоялась в Лондоне, в уютной квартире сэра Эндрю. К этому времени я начитался о нём, знал, что он основал организацию “MigrationWatch”[40], которая призвана тщательно отслеживать, сколько мигрантов ежегодно приезжает в Великобританию. Впрочем, я не прав: отслеживается не количество (хотя и оно тоже), но состав, общность культуры, религиозных корней, которые имеют эти мигранты, с англичанами. Следует помнить о том, что сэр Эндрю Грин не просто выдающийся арабист, но считается одним из самых блестящих послов её Величества на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии. Он давно на пенсии, но когда я встречался с ним, активно занимался вопросом миграции. Главный его посыл: «Мы совершенно не опасаемся иммигрантов из Восточный Европы, напротив, мы приветствуем их, они – люди общей с нами культуры, истории, общего менталитета, от их приезда наша страна только выигрывает, становится богаче. Но когда на нас накатывает девятый вал, состоящий сугубо из мусульман, из представителей арабского мира, когда за годы пребывания у власти лейбористов во главе с Тони Блэром, за тринадцать лет, их прибыло около четырёх миллионов, это совершенно неприемлемо. Нас чуть больше шестидесяти миллионов, и мы не можем справиться с такой дополнительной нагрузкой».

Это расизм? Уверен, что сэр Эндрю отверг бы это обвинение. Сказал бы, что это здравый смысл.

Закончу вот чем: как оказалось, сэр Эндрю предан теннису, как и я, кроме того, он обожает Роджера Федерера, впрочем, тоже как и я. Восхищаясь им, сэр Эндрю сказал:

– Федерер – настоящий джентльмен.

Потом, подумав секунд пять, добавил:

– Он мог бы быть англичанином.

И слегка улыбнулся.

Потом я спросил его:

– Скажите, сэр Эндрю, между нами, не для фильма, ведь вы, англичане, относитесь ко всем остальным свысока? Ведь так?

Сэр Эндрю помолчал, потом улыбнулся и сказал:

– Раз это не для фильма, то да, это так.

Джонатан Димблби

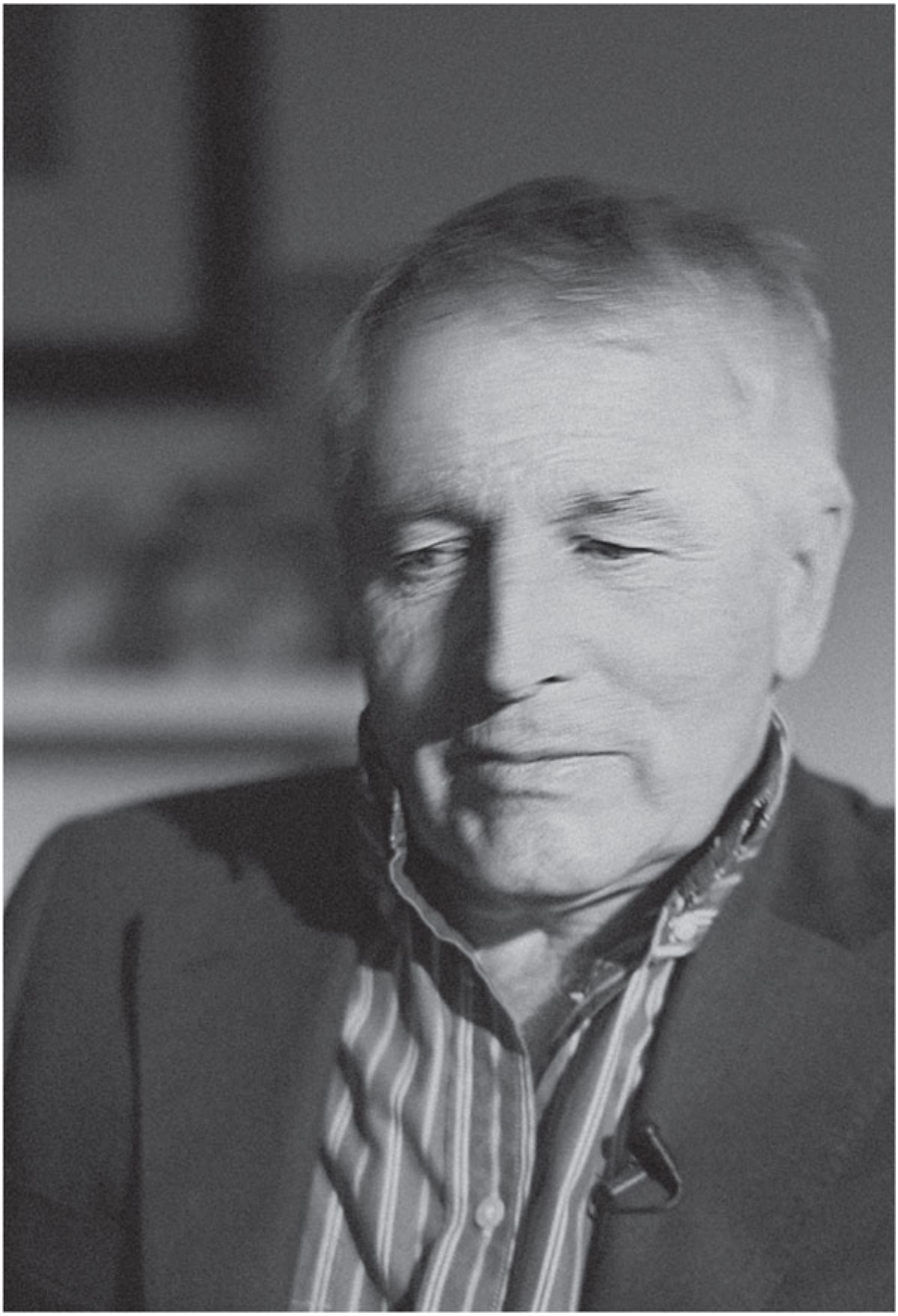
Этот известнейший в Великобритании журналист, весьма и весьма публичная фигура, высказал суждение, которое является ключом – по крайней мере, одним из целого набора – к пониманию англичан: «Вторжение в личное пространство воспринимается как страшнейшее оскорбление. Право на личную жизнь для нас очень и очень важно».

Я уже обратил ваше внимание на слово privacy, но позволю себе вернуться к этой теме, поскольку она – одна из основ того, что можно бы назвать «английскостью». К сожалению, слово это не имеет перевода на русский, есть лишь объяснение: личное пространство. Объяснение на самом деле не только неточное, но и запутывающее смысл этого понятия ещё больше.

Я уже рассказал вам о нашем с Иваном пикнике на газоне, который не привлёк внимание ни одного англичанина, несмотря на шедшие в этот момент киносъёмки.

Если развить эту тему на шаг дальше, то неизбежно придём к вопросу отношения к отдельно взятому человеку, к индивидуальности. У англичан индивидуальность важна, и не просто важна, а важнее всего. Я где-то заметил, что англичане – японцы Европы, и это во многом так, но только не в вопросе отношения к индивидууму. Коллектив для японца важнее и ценнее индивидуума. Японская пословица гласит: «Если гвоздь торчит, его надо забить», а гвоздь – это и есть та самая индивидуальность.

Все тоталитарные общества построены на подавлении личности, на учении о превосходстве коллектива. И в таких обществах совершенно отсутствует само понятие privacy.



Стивен Гарнетт

Мы встретились в старинном английском городке Челтенхеме, куда меня привело знакомство с журналом “This England”[41]. Журнал был создан в 1968 году и вышел с лозунгом “Fresh As a Pot of Tea”[42]. Как сказал об этом журнале ранее упомянутый мной Джереми Паксман, «взгляд этого журнала обращён исключительно в прошлое».

Я приехал в Челтенхем, чтобы взять интервью у тогдашнего главного редактора журнала, Стивена Гарнетта, – пишу «тогдашнего», потому что не знаю, остаётся ли он по-прежнему в этой должности, да и вообще, жив ли журнал. Меня интересовали взгляды мистера Гарнетта на иммиграцию, так сказать, в какой степени иммиграция соответствовала или, напротив, противоречила идеалам «Этой Англии».

Должен сказать, что мистер Гарнетт был осторожен. Он начал с того, что «знает многих» иммигрантов, которые вполне успешно интегрировались в английское общество, но тут же добавил:

– Есть те, которые не интегрируются, более того, не хотят интегрироваться, даже не желают учить английский язык.

Потом он напомнил мне, что до прихода к власти лейбористов в Англию приезжало столько же народа, сколько уезжало, примерно пятьдесят тысяч. Но когда лейбористская партия широко открыла ворота иммиграции, стало приезжать на двести пятьдесят тысяч больше, чем уезжать, что, сказал он, «совершенное безумие». И, подумав, произнёс слова, которые являются ключевыми для понимания отношения местных жителей к иммигрантам:

– Этим людям дают бесплатные дома, медицину, льготы, дают больше, чем получает всю жизнь работавший для своей страны англичанин, и это возмутительно и ужасно.

Я не противник иммиграции, более того, я её сторонник, но возразить на слова мистера Гарнетта трудно.

Как мне представляется, нужно ставить перед любым человеком, который хочет переехать – неважно, по какой причине, – некоторые условия: он должен за некий срок (скажем, за год) выучить язык. В течение этого времени ему будут предоставлены необходимая жилплощадь и пособие, на которое он будет жить. Кроме того, он должен будет выучить историю

страны, в которую он приехал, её конституцию и устройство. Если через год он успешно сдаст экзамены по всем этим предметам, ему предложат работу с оплатой не ниже прожиточного минимума и дадут ещё три месяца на нахождение жилья. Если же он проваливает экзамен – хотя бы один – или, сдав их, не находит себе жилья, его высылают из страны. Сурово? Возможно. Справедливо? Безусловно. Человек, который хочет жить в моём доме, обязан соблюдать все правила, условия и порядки этого дома. Не может? Не хочет? Тогда в моём доме для него нет места.

Сэр Родрик Брейтвейт

Каждый раз, когда мы снимали наши фильмы, случалось так, что я встречал одного или двух – но не больше – людей, которые становились для меня краеугольным камнем фильма. Именно он или они вдруг не только поднимали занавес и открывали сцену, но уводили за кулисы того сложнейшего театра, который называется страной, а в данном случае – Англией.

Этим человеком был сэр Родрик Брейтвейт, не только бывший посол Её Королевского Величества в СССР и РФ, но и бывший директор Британской национальной оперы, но и бывший руководитель Королевской Академии Музыки, но и… и… и… Словом, энциклопедист, то есть человек XVIII века, по счастливой случайности попавший в XX-й и XXI-й.

Эту главку я хотел бы написать не так, как все остальные, потому что сам сэр Родрик не такой, как остальные. Она построена на наиболее запомнившихся и записанных мною его высказываниях и на моих размышлениях и соображениях, с ними связанных.

* * *

«Довольно давно элита стала воплощением принципа меритократии».

Это так. В течение веков элитой была аристократия. Аристократ принадлежал к элите автоматически, по рождению, не приложив к этому никаких усилий. Сегодня элитой мы считаем тех, кто в своём деле добился выдающихся результатов, будь то политики, бизнесмены, врачи, учёные, представители творческих профессий. Они добились этого трудом, отдавая своему делу свою жизнь. К сожалению, присвоение понятия элитарности ресторану, клубу и тому подобному – это не только бессмыслица, но и выражение желания присвоить себе и своей деятельности то, что на самом деле не имеет к ним ни малейшего отношения.

© Simone Padovani/Awakening/Getty Images

* * *

«Английское хладнокровие – миф. Он применим к выпускникам Итона, но не все англичане – выпускники Итона.

Этот образ уходит в XIX век, и он неверен».

Образ англичанина, который не потеет в жару и не мёрзнет в стужу, который всё принимает как должное, не вздрогнет при выстреле, не бледнеет и не краснеет, никогда не теряет спокойствия духа, относится к мифам, созданным во времена колониального расцвета Англии, который давно потух. Как, впрочем, и сам этот миф.

* * *

«Вопрос о том, какое образование мы даём своим детям, чуть ли не главный. И мы о нём спорим».

Весь мир спорит, кроме, возможно, Китая и Северной Кореи. Недавно я выступал перед старшеклассниками одной московской средней школы, и меня спросили: «Какова, по-вашему, главная задача школы?» Я ответил: «Научить человека думать». Нет спора, надо дать человеку определённое образование, сумму знаний, но перво-наперво – научить думать.

Советская средняя школа была очень сильна в первом. А вот во втором… Учили не думать, а что думать, то есть оценку исторического события или литературного произведения предлагали заранее готовой. Сочинение на тему «Евгения Онегина» следовало писать, исходя из предлагаемого учебником посыла: «Евгений Онегин как представитель российского дворянства первой четверти XIX века». А я предложил бы: «Моё представление о Евгении Онегине». В первом случае всем ученикам предлагается писать по кальке, от которой нельзя отходить. Во втором – каждый может дать свою индивидуальную оценку.

В итоге вопрос заключается в том, какое мы хотим видеть общество: либо мыслящее по единому шаблону, либо состоящее из самостоятельно мыслящих личностей.

* * *

«Есть большой разрыв между элитой и всеми остальными. Теперь это банкиры, поп-певцы, очень богатые люди».

Кажется, совсем недавно возникла такая премудрость: «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Деньги стали мерилом успеха. В английском языке довольно давно существует идиома “money talks”[43]. Относительно недавно она была осовременена одним моим знакомым, выдающимся

американским кардиохирургом, которой сказал “Money doesn’t talk, money screams”[44], деньги заглушают всё прочее, становятся главной целью, достижению которой человек отдаёт себя целиком. В результате происходит смещение ценностей. Поп-певец или футболист, зарабатывающие десятки миллионов долларов в год, ценнее, «элитней» хирурга, каждый день спасающего жизни, но зарабатывающего несравненно меньше.

* * *

«Монарх – это тот элемент государства, вокруг которого могут объединиться все другие элементы. У нас в стране есть что-то такое, что не занимается политикой и не замешано в той грязи, которая эту политику сопровождает».

Ещё один английский довод в пользу монархии. Когда же я заметил, что монархии есть в других странах Европы – например, в Дании, Норвегии, Швеции и Испании, но английская монархия известнее всех, он заметил:

«Это из-за абсурдных выездов в золочёных каретах и дурацкой формы королевской гвардии – высоченных меховых шапок и красных униформ».

* * *

«Нельзя доверять людям при власти, потому что они злоупотребляют этой властью».

Вот уж не в бровь, а в глаз!

Меня давно занимает вопрос власти. Вернее, стремление людей к власти. Это, конечно же, люди особого рода. Грубо говоря, можно разделить их на две группы.

Первая – это люди, для которых власть притягательна, как деньги для бизнесмена. Они от власти получают удовольствие, которое можно сравнить только с сексуальным. Она, власть, является для них целью жизни, отдельной и ни с чем не сравнимой. Они властолюбцы. И, получив власть, они ни за что не расстаются с ней.

Вторые – люди с мессианским комплексом. Они знают, как вам надо жить. И, получив власть, они сделают всё, чтобы вы жили именно так, как им представляется правильным. И если вы будете сопротивляться, они не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своего. В крайнем случае могут и убить вас: лучше вам вовсе не жить, чем жить не по их представлениям.

Помню, у меня как-то случились дебаты с Алексеем Навальным на «Дожде». Когда я сказал, что он – представитель именно этой, второй группы и что мне совершенно не улыбается жить так, как он считает нужным, он довольно остроумно ответил: «Ну почему же, вам понравится».

Вообще, власть омерзительна. Я хорошо понимаю сторонников анархизма. К сожалению, мы не достигли того уровня самоуправления, при котором можем обходиться без власти (и, думаю, вряд ли достигнем). Но стремление человека как-то ограничить власть старо как мир. Самый яркий пример этого стремления – то, как отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, освободившись от английской короны, построили государство на фундаменте сдержек и противовесов.

Исполнительная власть во главе с Президентом не может принимать решения без одобрения Конгресса, который является властью законодательной. Конгресс не может принимать законы, если Верховный суд сочтёт их не соответствующими Конституции. Членов Верховного суда предлагает президент, но утверждает их Сенат, причём утверждает пожизненно – никто не может их снимать с должности. Кроме того, Президент назначает всех членов правительства, но опять-таки, только с одобрения Сената. Получается, что каждая ветвь власти контролируется другой ветвью. Неограниченной власти не существует. Эта система была придумана в последней четверти XVIII века, когда в мире царили императоры и прочие монархи, и постепенно она стала образцом для подражания демократического мира.

Правда, в это дело своё привнесли французы (они всегда вносят своё): «четвертую власть», прессу. Её задача – контролировать власть, не какую-либо её ветвь, а всю. Пресса должна играть роль сторожевого пса, который громко лает, как только обнаруживает злоупотребление властью. Уточняю: «лай» – это обнародование информации как для самой власти, так и, что особенно важно, для общества.

Надо сказать, что и в этом случае отцы-основатели учли важность «четвертой власти», приняв «Билль о правах», первые десять поправок к Конституции, первая из которых запрещает власти каким-либо образом ограничивать свободу печати.

С моей точки зрения, главный показатель отсутствия демократии в любой стране – отсутствие свободной прессы. Примером может служить Советский Союз, в котором СМИ полностью контролировались властью. «Солдаты идеологического фронта» – так в СССР называли журналистов. Солдат, как известно, получает приказ. Если он его плохо исполняет, его наказывают, если хорошо – он получает медаль, повышение в

звании, может дослужиться до генерала, но всё равно он солдат. Отсутствие свободной прессы – одна из основных черт тоталитарного общества (см. Китай, Северную Корею).

Мы живём в авторитарном обществе, в котором значительная часть СМИ контролируется прямо или опосредованно властью, но есть и независимая печать, хотя по охвату она ограничена.

Наконец, следует признать, что в странах демократических количество независимых газет и журналов, радиостанций и телевизионных каналов неуклонно уменьшается: их поглощают крупные корпорации, не имеющие никакого отношения к журналистике и рассматривающие СМИ как инструмент влияния и источник прибыли.

* * *

«Британцы считают себя жителями страны, у которой должны быть авианосцы и подводные лодки, хотя вся эта техника не нужна, но, строя её, мы обращаемся к чувствам людей».

И не только британцы.

* * *

«Англичанам нравится воевать… мы иногда проигрываем сражения, но всегда побеждаем в войнах».

Мы тоже… ну, почти всегда.

* * *

«При Гастингсе нормандцы победили саксов[45]. В Нормандии есть кладбище англичан, погибших при высадке союзнических войск в 1944 году. Там есть надпись на латыни: «Мы, завоёванные Вильямом, вернулись, чтобы освободить родину Завоевателя 900 лет спустя».

Ничего себе историческая память. Это очень по-английски.

* * *

«Погибших в Битве за Москву было больше, чем потеряло Объединённое Королевство за всю Первую мировую войну. Мы не выиграли бы Вторую мировую войну без русских. Девять из

десяти немцев были убиты на Восточном фронте. Англичане ничего об этом не знают».

Признание, встречаемое чрезвычайно редко не только в Англии, но и в Европе, и в Америке.

* * *

«Мы предоставляем убежище тем, кого, как мы полагаем, преследуют… Лондонский магистрат, чтобы выслать человека, должен быть уверен в том, что его ждёт справедливый суд».

Это в ответ на вопрос, почему Великобритания не высылает обратно в Россию людей, против которых в РФ возбуждено уголовное дело.

* * *

«Мы намного сдержаннее русских… пока не напьёмся».

Исключительно точное наблюдение.

* * *

«Потеря империи – это очень болезненная вещь. Когда я ходил в школу, одна четверть карты мира была окрашена в красный цвет. Это был цвет нашей империи… и вдруг это всё уходит, потому что вы оказываетесь неспособным всем этим управлять».

Факт: империи могут быть долговечными, но в конечном итоге рушатся. Все без исключения. Они бывают разными. У одних колонии находятся за тридевять земель, далеко от метрополии. Так было с империями Франции, Испании, Португалии, Голландии и, конечно, Англии. У других вся империя представляет собой единую территорию. Так было с Австро-Венгрией, Российской/Советской империями. Но все кончили одинаково: исчезли. Одни кроваво, другие бескровно, но не стало как тех, так и других.

Кстати, когда я говорю о Советской империи, мне иные возражают: «В империях колонии всегда были угнетены, они жили хуже, чем метрополии, а в Советском Союзе республики, которые вы зловредно называете колониями, жили лучше, всякие там грузины, азербайджанцы, прибалты, узбеки жили лучше русских». Отчасти это так, но лишь отчасти. Да это не имеет

значения: управляла всем Россия, секретарями по идеологии в центральных комитетах республик неизменно были русские. И я, как журналист, объездивший СССР, могу засвидетельствовать: русских не любили нигде.

Когда сэр Родрик сказал, что потеря империи болезненна, он должен был добавить «мягко говоря», потому что эта потеря подобна утрате человеком ноги или руки. На долгие годы, а порой до конца жизни, он ощущает фантомные боли того, чего давно нет.

Так Россия и россияне испытывают фантомные боли от потери империи, боли, которые выражаются в росте национализма и шовинизма. И это характерно не только для русских и России.

Британское вторжение

Beatles, Led Zeppelin, Coldplay, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Rolling Stones, Rod Stewart, The Who, Pink Floyd, Queen, Iron Maiden, Sex Pistols, Clash… Эта музыка родилась в середине 50-х и захватила мир, затмив всю прочую, включая американскую.

Я часто задумываюсь над тайной того, как вдруг вроде из ниоткуда рождается нечто, до этого невиданное, а потом исчезает, оставив после себя глубокий след, память и вопрос: почему появилось, почему исчезло? Например, итальянский неореализм с его плеядой гениальных режиссёров – Феллини, Антониони, Висконти, де Сантис, де Сика, Росселлини… Итальянское кино, словно ракета, взмыло на недосягаемую для всех высоту, посияло и… погасло. Оно продолжает существовать, итальянское кино, но кто, кроме самих итальянцев, знает о нём?

Меня удивляет внезапная концентрация если не гениев, то выдающихся личностей в то или иное время и их внезапное исчезновение. Это не относится в полной мере к английской поп-музыке, которая и сейчас звучит достаточно громко. Но то, что случилось во времена «Британского вторжения», было лишь однажды и не повторилось.

И во главе этого были «Битлз».

Cafe Bar

Битлз

Мы сидим с Ваней на скамейке рядом со школой, в которой учился Джон Леннон. Это окраина Ливерпуля. Тут же расположился памятник «Битлам» – нагромождение каменных чемоданов и гитар разных размеров. Ваня вспоминает, как он в юности зачитывался книгой Хантера Девиса «Битлз». Я, как бы невзначай, спрашиваю:

– А вы не помните фамилию переводчика?

Ваня смотрит на меня удивлённо, мол, какое это имеет значение? Потом, вдруг сообразив, к чему был мой вопрос, восклицает:

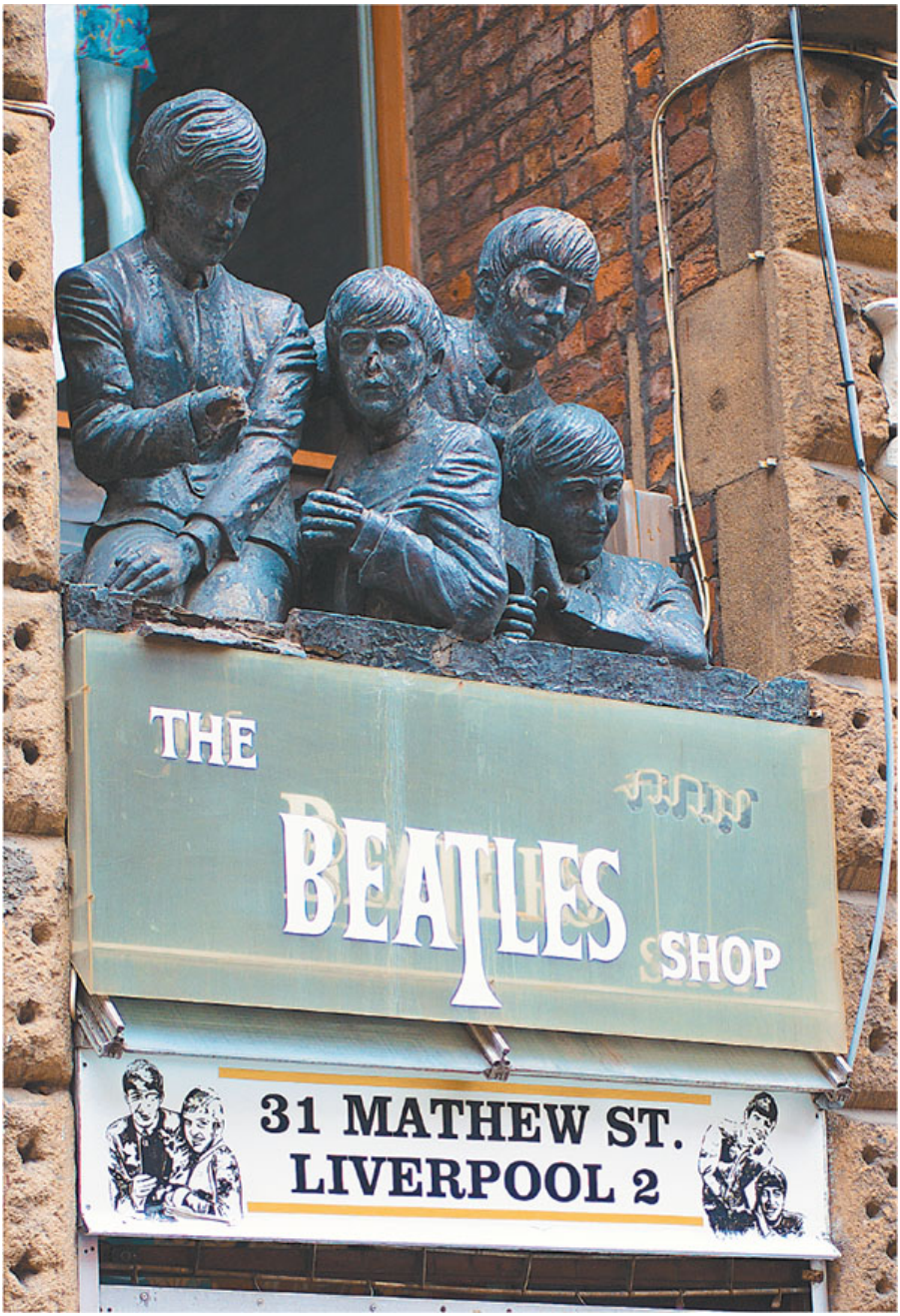
– Да ладно?!

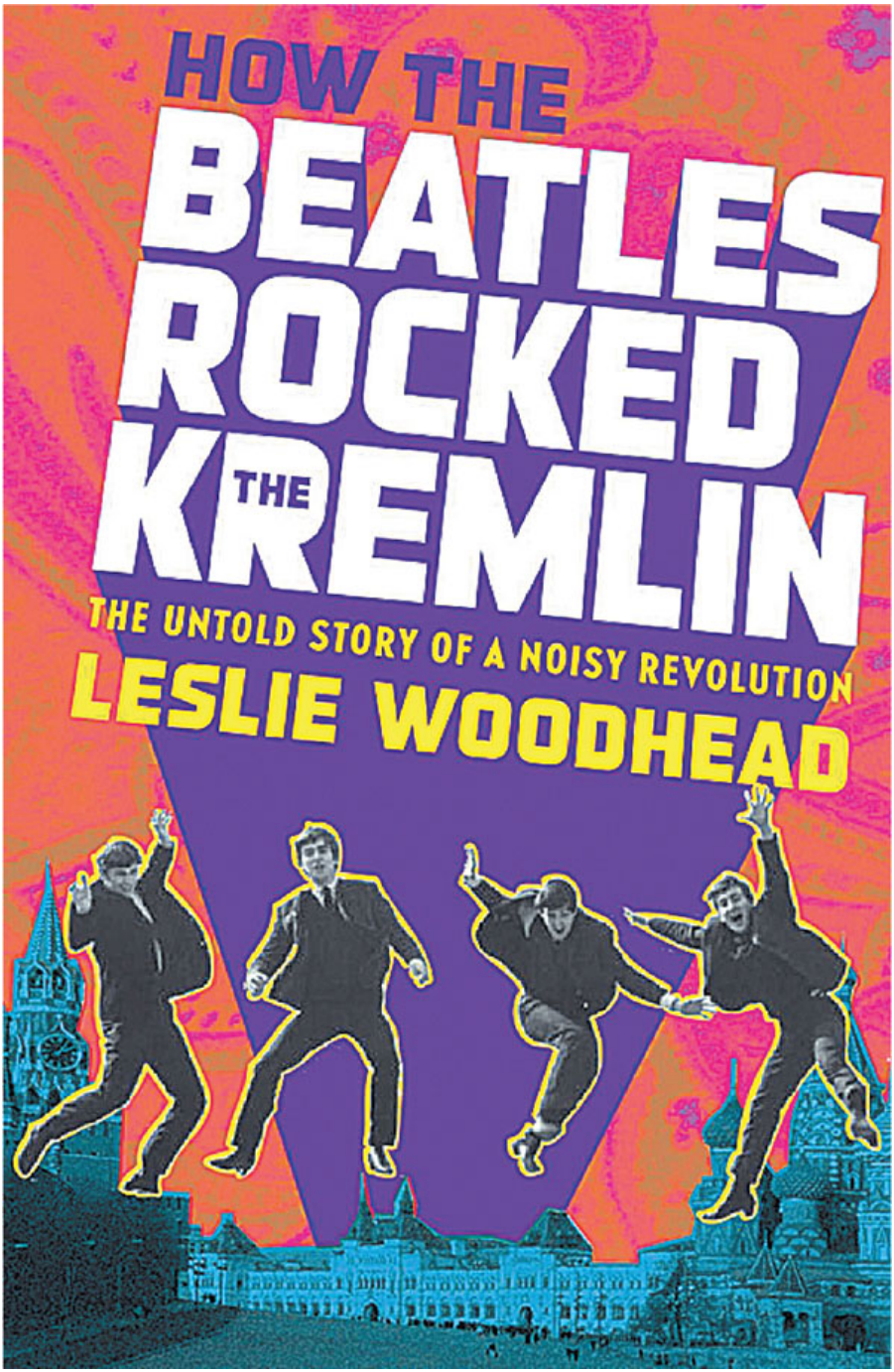
В ответ на что я скромно киваю. Ваня меня обнял, и у него на глаза навернулись слёзы.

* * *

Объяснить магию «Битлз» невозможно, что естественно – магия на то и магия, что она необъяснима. Группа распалась в 1970 году – пятьдесят лет тому назад, но звучит и сегодня. Такой проверки временем не испытала и не выдержала ни одна другая группа.

В Советском Союзе «Битлз» были запрещены. Но знали их все. Когда уже много лет спустя, 24 мая 2003 года, на Красной площади состоялся концерт Пола Маккартни, то собравшиеся – а их было, по разным подсчётам, от 20 до 50 тысяч человек – хором, слово в слово, пели с ним. Откуда они знали слова песен запрещённой группы? Поди пойми.


THE
BEATLES
SHOP
31 MATHEW ST.
LIVERPOOL 2



Почему «Битлз» были запрещены в СССР? Как будто загадка. Не было ничего антисоветского ни в их музыке, ни в текстах. Так в чём дело? А дело в поразительном «нюхе», классовом чутье советского руководства, которое спинным мозгом чувствовало

опасность этой музыки.

Мой приятель, выдающийся английский кинодокументалист Лесли Вудхед, в 2009 году снял фильм «Как “Битлз” потрясли Кремль». Сейчас, когда я пишу эти слова, я слушаю «Битлз» и пытаюсь представить себе, что чувствовали советские идеологи, слушая эту музыку. Дискомфорт? Угрозу? Опасность? А если так, то почему?

В этих песнях, в их исполнении звучит свобода, совершеннейшая свобода. Вряд ли сусловы[46] советского агитпропа отдавали себе в этом отчёт, но чувствовали на уровне подсознания.

Джон Сноу

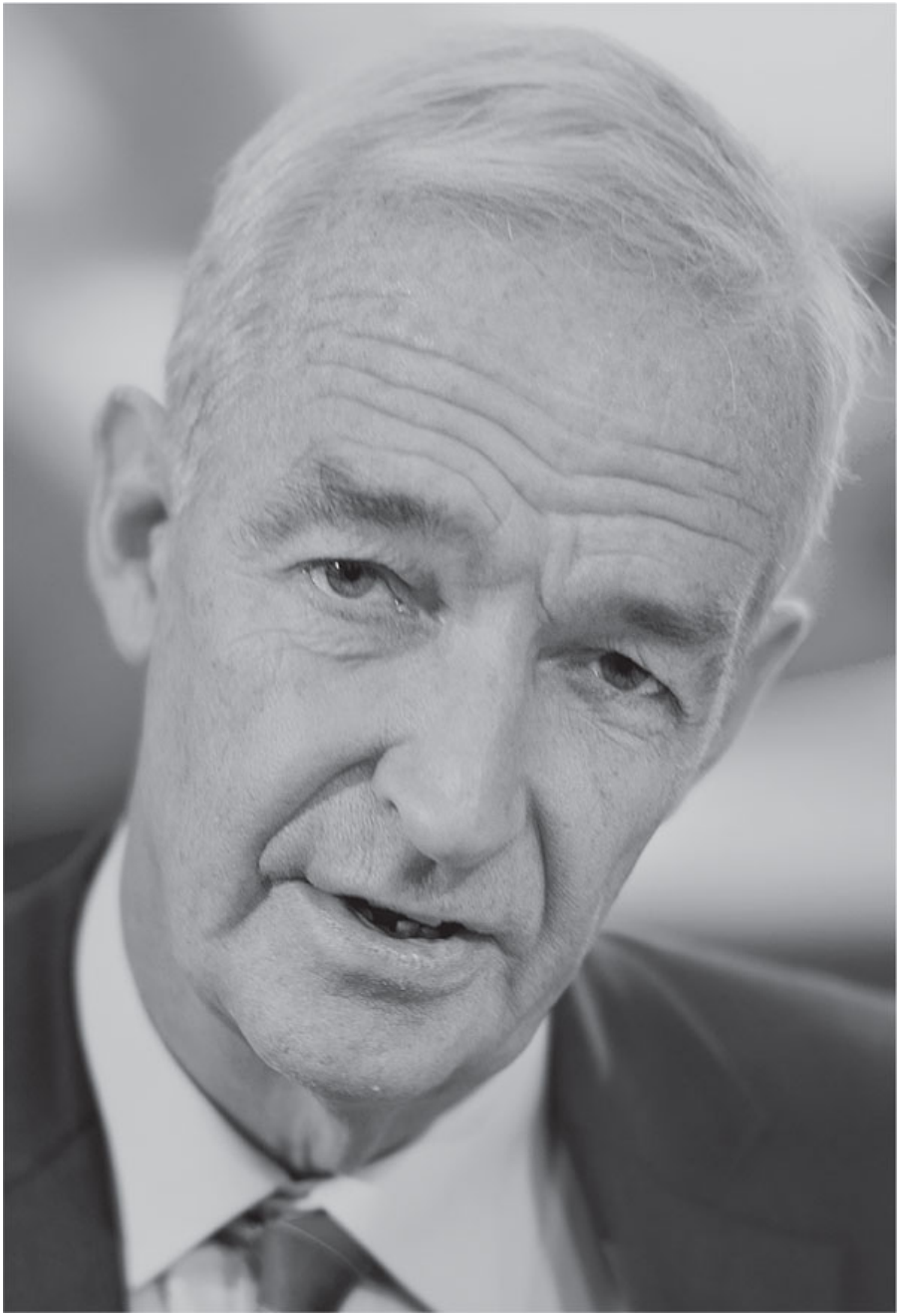
С 1989 года и по сей день Джон Сноу ведёт вечерние новости на престижнейшем четвертом канале «Би-би-си». Впрочем, известен он не только этим, но и пристрастием к самым многоцветным, кричащим галстукам. И ещё он большой любитель и горячий поклонник английской поп-музыки.

«Мы взяли американские зёрна и посадили в нашу почву. Они вырастают в могучие деревья».

Почему?

«Понимаете, наша поп-музыка родилась после Второй мировой, её создавали люди, чьё детство прошло после бомбёжек, разрухи, голода. Ничего этого в Америке не было. Там рок весёлый, благополучный, всё в радость, по сути дела, в нём нет протеста. А наш британский рок – это выражение протеста, неприятия. Он другой».

Чего не сказал Джон Сноу, так это того, что и английский рок стал другим – коммерческим, как весь рок. Если в начале это и в самом деле было выражение протеста, то по мере того, как рок стал популярным и рок-певцы и группы стали собирать многотысячные стадионы, он стал коммерческим. И на смену ему пришла другая музыка протеста – панк[47].



Энди Чижевски и Сьюзан Керрингтон

В 1977 году в Лондоне открылся клуб «Рокси». Он просуществовал всего лишь один год, но именно в нём родилась музыка, получившая название «панк». Чижевски и Керрингтон были его создателями.

Рассказывая о зарождении английского рока, Энди и Сьюзан говорили о том, как в послевоенной чопорной Англии, с её неулыбчивыми, застёгнутыми на все пуговицы, одетыми в котелки мужчинами и холодными, сухими женщинами («непонятно, откуда брались дети»), накапливалось неприятие принятых правил и стандартов, которое прорвалось прежде всего в музыке, в роке.

«Но рок скурвился, – говорит Энди, – и появилось новое поколение, которому всё-всё обрыдло. И выражалось это во всём. В вызывающей одежде, крашеных волосах, мейкапе, поведении, наркотиках и, конечно, панке».

Я помню, как нечто похожее происходило в Союзе именно в музыке – появление полузапрещённых/полуразрешённых джаз-клубов, зарождение андеграунда.

Элизабет Эманюэл

Эта дама, отличающаяся, среди прочего, совершенно невероятной причёской, каким-то буйным взрывом крашеных (как мне казалось) золотых волос, известна тем, что является дизайнером свадебного наряда принцессы Дианы.

В моде я не сильно разбираюсь, но всё же решился задать вопрос о том, как относится Элиза Бет, как она себя величает, к английской моде.

«Как бы ни кичились французы и итальянцы, но именно мы, англичане, сочетаем в себе вечную классику и то, что признаётся прорывом в моде. Ну, подумайте сами: портные мужской моды на Сэвил-Роу[48] – им же нет равных…»

И я вдруг вспомнил:

> Вот мой Онегин на свободе;
> Острижен по последней моде,
> Как dandy[49] лондонский одет…

Заметьте: денди не парижский, не венский, не римский, а лондонский.

«А с другой стороны, – говорит она, – кто придумал мини, макси и миди? Мы, англичане, не говоря о дамских шляпах, равных которым не сыщете во всём мире. Вы были на скачках в Эпсоне?»

Да, говорю, был. И дамы там появляются в таких шляпах, что дух захватывает от полёта фантазии.

«И вообще, – продолжает Элиза Бет, – мы, англичане, придумали всё на свете: футбол, теннис, регби, ростбиф, блэк кэб, газон, Парламент…».

Да, тут спорить нечего, англичане напридумали невероятно много чего, сделали феноменальное количество открытий, подарили миру таких гениев, как Дарвин, Ньютон, Резерфорд,

таких государственных деятелей, как Дизраэли и Черчилль, такого выдающего гения, как Шекспир. И вот, размышляя над этим, я задался вопросом: из всего, что создано, рождено, изобретено англичанами, что кажется мне самым главным, самым ценным? И я нашёл ответ. Это…

Великая хартия вольностей

Фамилия Скрипаль вам что-нибудь говорит? Если нет, то напомню: Сергей Скрипаль был советско-российским разведчиком, который стал работать на британскую разведку, был схвачен и осуждён, отсидел некоторое время и затем его обменяли на какого-то нашего разведчика. Он уехал в Англию со своей дочерью Юлией, где поживал тихо-мирно в городе Солсбери. В один ненастный день они оба были отравлены (к счастью, выжили), и в отравлении английские спецслужбы заподозрили двух российских… туристов, которые, правда, сумели вернуться в родную Москву до возникших подозрений. Волнуясь за чистоту своих имен, они попросили гендиректора канала РТ, Маргариту Симоньян, взять у них интервью, что она и сделала. Интервью, как бы это сказать, незабываемое. Если не видели, рекомендую. Никаких сомнений в невиновности этих парней не возникнет. Почему они поехали в Солсбери? А для того, чтобы посмотреть на самый высокий в Англии шпиль Собора Святой Девы Марии.

Я же поехал в Солсбери не для того, чтобы насладить взор, нет, я поехал, чтобы посмотреть на одну из четырёх сохранившихся копий Великой хартии вольностей.

Она была подписана королём Иоанном Первым 5 июня 1215 года, подписана вынужденно – под давлением баронов и епископов.

Этот уникальный документ состоит из преамбулы и 63-х пунктов. Вот лишь два из них:

39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключён в тюрьму, или лишён владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдём на него и не пошлём на него иначе, как по законному приговору равных его [его прав] и по закону страны.

40. Никому не будем продавать права и справедливости, никому не будем отказывать в них или замедлять их.

Напоминаю: это написано и принято в 1215 году. Когда заходит разговор о демократии, о проблемах демократии в России, я всегда напоминаю о Великой хартии вольностей, о том, что этот документ, ограничивающий власть короля, требующий от него соблюдения законов, был принят, когда ещё не было русского государства.

Демократия – процесс, её нельзя декретировать, демократия – это прежде всего развитие мышления, принятие системы взглядов, которые только потом выражаются в виде конституции. Обратный порядок – принятие конституции при отсутствии

подготовленности неготовности граждан – не приводит ни к какому результату. Применительно к России сегодняшнего дня, демократия – это вопрос времени. И это вопрос традиций.

Айвор Робертс

Кстати, о традициях.

Оксфордский университет (в прилагательных типа «престижнейший», «всемирно известный» он не нуждается) был создан в XIV–XVI веках. Он состоит из двадцати трёх различных колледжей, среди которых есть более и менее известные. К числу более известных относится Тринити-колледж, созданный в 1555 году.

Господин Айвор Робертс – его президент. Он считает, что «бриллиант в короне образования» университета – это система тьюторов. Согласно этой системе, к каждому студенту (или двум, но не более) прикреплён учитель, который видится с ними еженедельно в течение часа и, как говорили мне студенты, их «зажаривает». Цель этих занятий, говорит Робертс, развить в студенте умение самостоятельно и критически мыслить, находить новые, оригинальные подходы к предмету изучения, обострить интеллект, наконец, закалить характер.

Этой традиции без малого пятьсот лет…

Ещё о традиции: господин Робертс повёл меня на экскурсию по Тринити-колледжу, который окружён безупречным и вечнозелёным английским газоном. Зная ответ, я спросил:

– По нему можно ходить?

– Да, – ответил Робертс, – но мы ходим только по его краям.

– Почему?

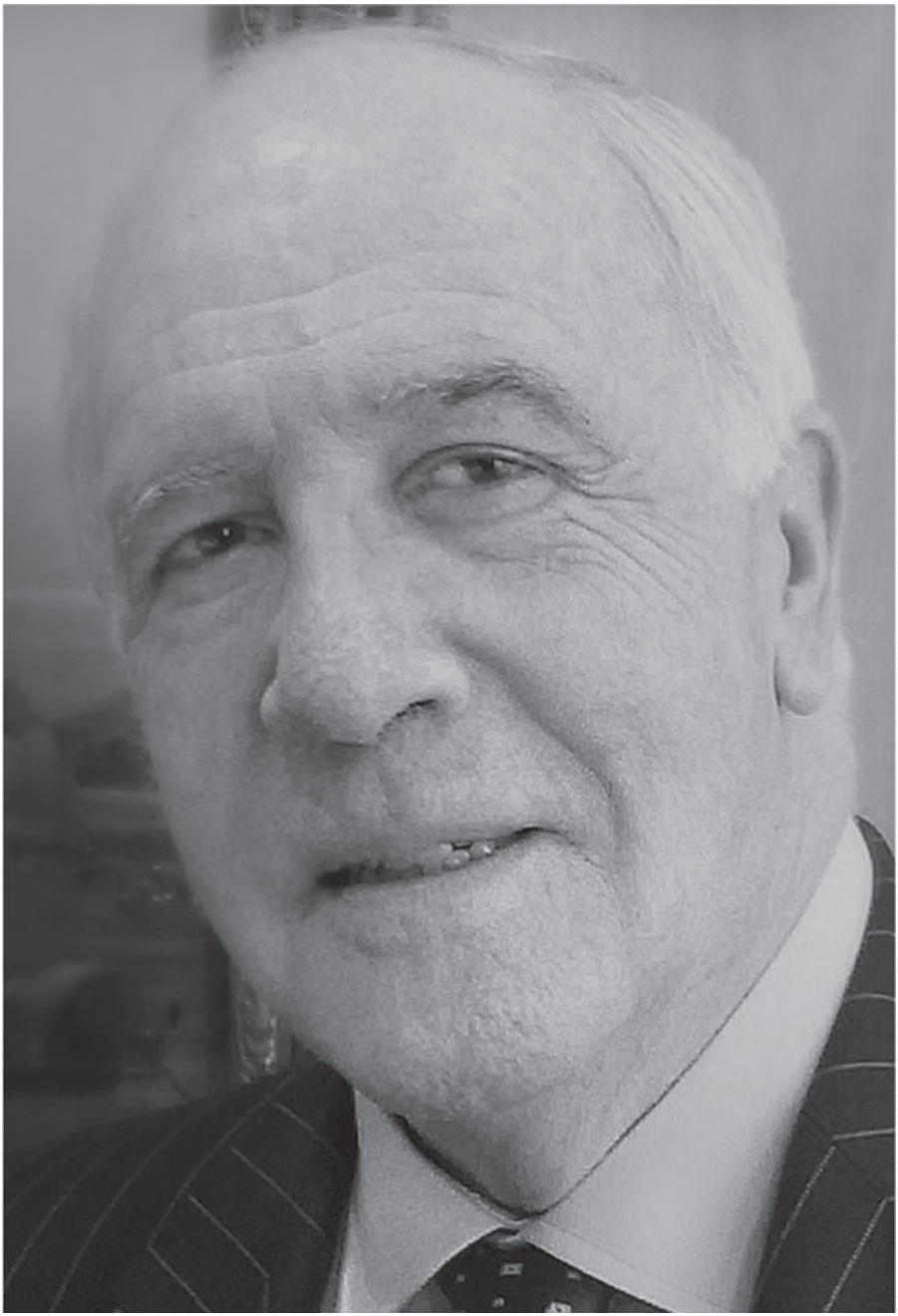
– В течение столетий многие профессора Тринити-колледжа оставляли завещания с просьбой развеять их пепел по этим газонам, что мы и делали. Из уважения к ним мы по газону не ходим.

Помолчав, я спросил:

– И так по сей день?

Айвор Робертс посмотрел на меня и с оттенком иронии сказал:

– Разумеется. Это традиция.



Джудит Керр

Бродя по грандиозной библиотеке Тринити-колледжа, я на столике обнаружил если не самую любимую, то одну из самых любимых моих книг: «Алиса в Стране чудес» преподавателя математики Оксфордского университета Льюиса Кэрролла. Это была одна из первых книг, которую читала мне моя мама, когда мне было года четыре. Думаю, с «Алисы» начинается моя любовь к английской детской литературе, которая вместе с тем является взрослой. Если не верите, попробуйте перечитать, а если никогда не читали, во что слабо верится, то прочитать книгу «Винни-Пух и все-все-все» – только обязательно в переводе Бориса Заходера (если не читаете по-английски, потому что перевод, о чем я уже писал, даже исполненный самым даровитым переводчиком, является в лучшем случае неполноценной копией оригинала). Или «Рассказы просто так» Киплинга. Или «Остров сокровищ» Стивенсона. Или наконец, книги о Гарри Поттере.

Мой любимый герой в «Алисе в Стране чудес» – Чеширский кот, явление уникальное в мировой литературе, кот, способный появляться в воздухе и потом исчезать, оставив от себя одну лишь улыбку. В этом есть что-то очень английское.

Неудивительно, что, придя к любимой многими поколениями англичан детской писательнице Джудит Керр, я сразу обратил внимание на книгу «Мог, забывчивый кот». Это не одна книга, а целая серия. Ещё одно её произведение – «Тигр, который пришёл выпить чаю». Разглядывая замечательные иллюстрации, автором которых является сама Керр, я поймал себя на мысли, что, сколько себя помню, люблю животных и что эту любовь породила во мне английская детская литература. И не только во мне. Англичане любят животных, относятся к ним как к равным, дают им человеческие имена. А почему?

Традиции, друзья мои, традиции.

Деклан Доннеллан

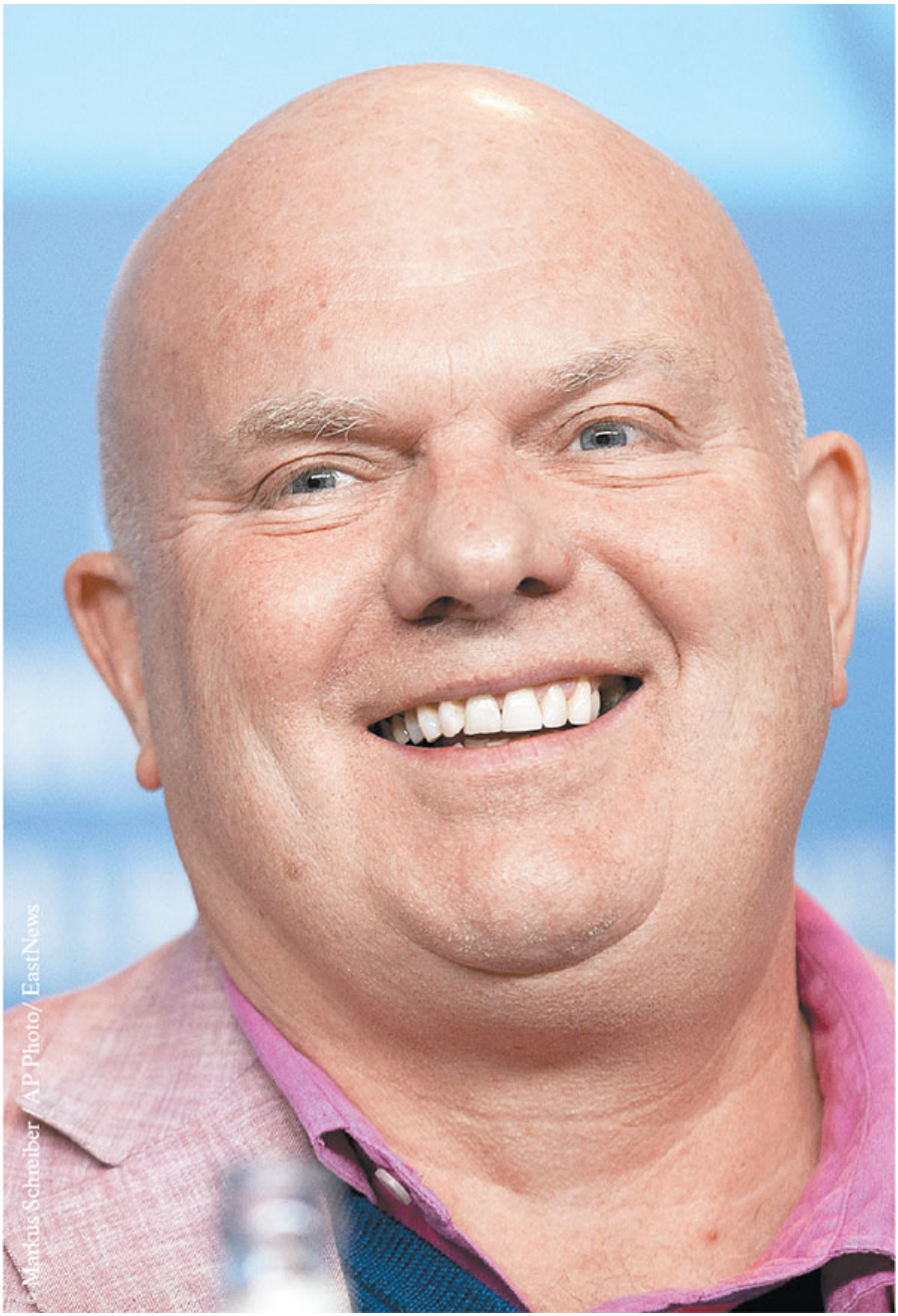
Этот полноватый лысый человек с кинжальным взглядом рассказывает о Шекспире, будто он его добрый приятель. В каком-то смысле это так и есть, потому что Доннеллан – один из самых известных в мире театральных режиссёров, ставящих Шекспира. Обожающих Шекспира. Отстаивающих Шекспира.

Помню, мы ехали с ним в Стратфорд-на-Эйвоне и возник разговор на довольно избитую тему о том, что на самом деле никакого Шекспира не было, вернее, был театральный актёришка, но не он писал бессмертные пьесы и сонеты Великого барда, а писал их… Ну, дальше возникает довольно обширный список, который включает в себя даже королеву Елизавету I.

– Не могли все эти милые господа примириться с тем, что автор этого гениального великолепия – простолюдин, – говорит Деклан. – Лопались от зависти, вот и напридумали всякий вздор.

Одна из любимых Декланом фраз Шекспира (из «Макбета») по-английски звучит так: “What’s been done can’t be undone”. Необыкновенно лаконично и мощно. Ритм такой: та-та-ТА, та-та-та-ТА. Всего семь слогов. А вот русский перевод: «Что было сделано, не может быть отменено». Ровно вдвое больше слогов и вообще никакого ритма. Трудности перевода.

И, может быть, главный и неисправимый изъян перевода: он неизбежно устаревает. Оригинал всегда остаётся оригиналом (мы же легко читаем Пушкина, хоть прошло двести лет), а переводы Шекспира, сделанные двести лет назад, читать невозможно: тот язык безнадёжно устарел.



* * *

В Лондоне единственный памятник Шекспиру – не бюст, а памятник во весь рост – находится в Вестминстерском аббатстве,

в той его части, где покоится прах классиков английской литературы. Памятник совсем небольшой, есть там масса других, гораздо большего размера. Они посвящены давно позабытым людям.

* * *

Деклан считает, что все люди играют, то есть в определённом смысле являются актёрами. И всё, что происходит в мире, – это театр:

– Советский Союз являл собой самую большую театральную иллюзию в истории, и он развалился как карточный домик, потому что на самом деле он не существовал.

Ну, не знаю. По-моему, и к моему огромному сожалению, он существовал, да ещё как. А был ли Советский Союз театром? Пожалуй. Театром абсурда, который ввёл в заблуждение сотни миллионов людей и привёл к гибели десятков миллионов.

* * *

Рассказ Деклана: «В Московском художественном театре один из актёров всегда приходил на репетиции со своей собакой. Собака уходила в какой-нибудь тихий угол и ждала своего хозяина. Но было замечено, что, как только репетиция заканчивалась, собачка брала повод в зубы и застывала у выхода. Никто не мог понять, каким образом собака понимает, что репетиция закончилась? Но великий Станиславский разгадал загадку. Дело в том, что после репетиции люди начинали разговаривать нормальными голосами, и собака, услышав изменение в голосах, понимала, что вот-вот они с хозяином уйдут».

После этого рассказа я стал прислушиваться к тому, как люди говорят. Очень часто они исполняют роль – человека доброго, принципиального, бесстрашного, влиятельного. Нормально, естественно говорят немногие.

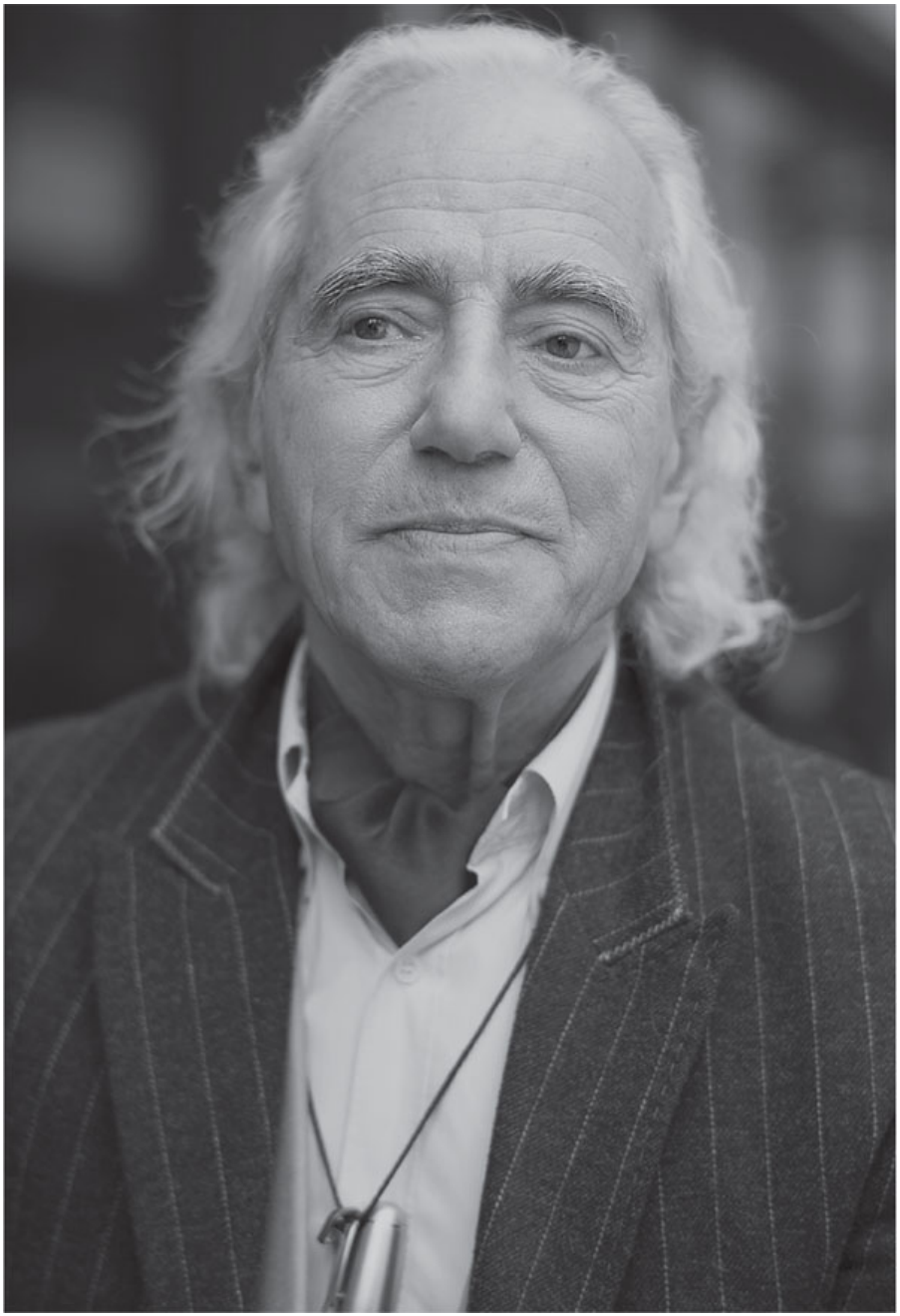
Сева Новгородцев

В глубоко советские времена десятки миллионов граждан религиозно слушали «вражеские голоса» – радиопередачи на русском языке «Голоса Америки», «Би-би-си», «Дойче велле» и других. Советские власти серьёзно опасались этих «голосов» и тратили миллиарды на их глушение, однако тщетно. Их всё равно слушали.

Было несколько суперпопулярных ведущих. На «Голосе Америки» это был Уиллис Конновер и его «Час джаза». На «Би-би-си» их было двое.

Анатолий Максимович Гольдберг, проработавший более сорока лет в русской службе, пользовался огромным уважением у своих советских слушателей – за ум, за корректность, за тонкую иронию, за полное отсутствие хамства. Я видел его воочию только один раз. Он был одет строго по-английски, у него была трость, почему-то мне кажется, что он был в котелке. Словом, это был образцовый, классический англичанин. Повторяю, им восхищались.

А вот кого любили, так это был Сева Новгородцев.



Его первая музыкальная передача вышла 9 июня 1977 года с довольно скучным названием: «Программа поп-музыки из Лондона». Потом, уже в 1991 году, она стала называться «Рок-посевы». Выходила она в течение двадцати семи лет – до 12 июня 2004 года, и эта программа пользовалась в СССР невероятной популярностью.

Сева Новгородцев, кавалер ордена Британской империи, уже довольно давно не живет в Лондоне. Да что в Лондоне, он не живёт в Англии. Вместе с женой он переехал жить в… Болгарию (!).

Я ничего против Болгарии не имею, но чистосердечно признаюсь, что если бы мне был предоставлен выбор, Англия или Болгария, то раздумывал бы я секунды две.

Но вот я вспомнил. Когда мы снимали фильм об Англии, то встретились с Севой и я спросил его, человека, прожившего к этому времени в Англии более тридцати лет, человека, нашедшего там себе применение, добившегося известности и государственной награды, стал ли он англичанином?

Сева посмотрел на меня – как мне показалось, невесело – и сказал:

– Нет, не стал.

– Почему?

– Потому что это невозможно. Надо родиться здесь, желательно, чтобы и родители твои здесь родились. А так – невозможно.

Эта истина верна не только для Англии. Я думаю, она верна вообще. Можно выучить язык так, что будешь говорить без акцента, так, что никто не заподозрит твоё иностранное происхождение, но внутри себя ты останешься чужим. Ты можешь полюбить свою новую страну, служить ей, болеть за неё. Но всё равно внутри останешься чужим.

Говорю по собственному опыту.

Послесловие

В двух предыдущих «тетрадях» послесловия не было. В этой оно тоже не предполагалось. Оно возникло, когда работа была сделана наполовину и я неожиданно понял, что эта «тетрадь» – последняя.

Изначально я предполагал, что «тетрадей» будет четыре. Не могу сказать почему. Возможно, потому, что эта цифра казалась мне идеальной, что ли, «полной».

Так почему же всего три? Потому, что работа над этой, английской «тетрадью» меня совершенно измотала.

Один из моих собеседников сказал мне, что Англия подобна луковице, она состоит из множества чешуек, и добраться до её сердцевины бесконечно трудно, если вообще возможно.

Я пытался. И по мере того, как я снимал чешуйки слой за слоем, продвижение становилось всё более тяжёлым.

В какой-то мере это было похоже на то, с чем я столкнулся, когда снимал фильм о Японии. Наступил момент, когда я хотел всё бросить, когда одолело чувство, что мне не справиться, всё слишком сложно, слишком чуждо. Правда, в отношении Японии я предполагал, что так может случиться: неевропейская культура, иные представления и традиции, да и язык совершенно непонятен. Психологически я был подготовлен.

Ничего подобного в случае с Англией я не ожидал, и, столкнувшись с этим, я растерялся. В конце концов, страна европейская, язык практически родной, да и внешне они, англичане, такие же, как мы.

Всё так, да не так. Англия такая же недоступная, как и Япония. С той только разницей, что это понятно не сразу.

Помню, Хемингуэй рассказывал о разнице между зимним дураком и летним. Летний входит – в шортах, майке, весь на виду, и сразу видно, что он – дурак. А зимний входит в меховой шапке, в шарфе, в шубе, в сапогах, весь такой солидный и серьёзный. Но вот он начинает раздеваться, и постепенно становится понятно, что он дурак. Не летний. Зимний. Применительно к тому, о чём я говорю, можно сказать так: столкнувшись с Японией, сразу понимаешь, что ничего не понимаешь. Англия же коварно заманивает тебя, ты входишь всё глубже и глубже, пока не наступает момент откровения: тебе понятно, что ничего тебе не понятно.

Когда-то Черчилль сказал, что Россия – это головоломка, завёрнутая в мистерию внутри загадки.

Эх, сэр Уинстон, жаль, что я не могу попросить вас дать

определение Англии.

notes

Примечания

1

Чекпойнт Чарли (англ. Checkpoint Charlie) – американский контрольно-пропускной пункт на границе Восточного и Западного Берлина. – Прим. авт.

2

На самом деле никакими руководителями они не стали. Более того, их советское «происхождение» сыграло с ними злую шутку, говорили, что они – не настоящие немцы, а дети тех, кто бежал от Гитлера вместо того, чтобы бороться с ним. – Прим. авт.

3

Выдающийся норвежский исследователь Арктики и гуманист, Фритьоф Нансен, в 1922 году представил документ для беженцев (тогда преимущественно русских), который позволял им жить и работать без ограничений. Этот документ получил международное признание.

4

Из стихотворения «Скифы» А. Блока.

5

«Умом Россию не понять» – строка из стихотворения Ф. Тютчева.

6

Точного перевода этого слова не нахожу. «Конкиста» – «завоевание», или «покорение». «Конкистадор» – «завоеватель». «Реконкиста» – «перезавоевание», «отвоевывание».

7

Мелочь, конечно, но без этого не было бы фамилии Познер, которая означает «еврей из города Познани», а до бегства из Испании в Польше не было евреев. Спасибо Томасу де Торквемада.

8

Уничтожение зачатков республиканского строя в Новгороде Великом.

9

От испанского castells, что означает «крепость».

10

Таблао – что-то отдаленно напоминающее французское бистро, за тем исключением, что приходят сюда на фламенко. Вино, кофе, закуска – это все вторично. Главное – фламенко, от которого сойти с ума. Но испанцы слушают спокойно, в конце номера аплодируют довольно сдержанно, но по глазам видно, какие страсти бушуют в их душах.

11

Попытаться в сноске объяснить, кто такой был Михаил Кольцов, дело безнадежное. Поэтому ограничусь совсем коротким представлением: он был журналистом № 1 Советского Союза в тридцатые годы прошлого века, был арестован в 1938 году и расстрелян по указанию И. В. Сталина в 1940-м.

12

«Я вернусь».

13

Прошу извинить за легкомыслие.

14

Советская Россия первой среди всех стран приняла такое решение.

15

Погибло 650 тысяч американцев, а во Второй мировой – 450 тысяч. Если учесть, какой была численность населения США в середине XIX-го и в середине XX века, то потери в гражданской войне можно считать тяжелейшими.

Так называли и продолжают зачастую называть южане жителей северных штатов, которые победили в этой войне.

17

Что сделано, то сделано.

18

То, что неподвластно исправлению, не стоит внимания. Что сделано, то сделано (Перевод мой. – В.П.).

19

ЭТА (баск. ETA, Euskadi Ta Askatasuna – «Страна Басков и свобода») – баскская националистическая террористическая организация, выступавшая за независимость Страны Басков. Создана в 1959 году, самораспустилась в 2018 году.

20

Моника Левински, сотрудница Белого Дома.

21

«Долгое путешествие». Книга вышла во Франции в 1963 году.

«Если». Перевод С. Я. Маршака.

23

Медианный доход – цифра, по обе стороны от которой находится одинаковое число людей.

24

От французского haquenée – небольшая лошадь, рекомендованная наездницам.

25

Названо так из-за имени его изобретателя Джозефа Хэнсома.

26

Такси стало называться чёрным, потому что производителю было дешевле красить все машины одним цветом – чёрным. Теперь это не так, блэк кэбы бывают всех цветов радуги, но названия своего не изменили.

27

Фильм «Англия в общем и в частности» снимался в 2011–2012 годах. Возможно, что за прошедшие годы некоторые мои герои ушли на пенсию или в мир иной. Но для меня они, оставившие в памяти глубокий след, живы. Я так и пишу о них.

28

Своё название часы получили в честь сэра Бенджамена Холла, который установил их во время капитального ремонта зданий Парламента в 1859 году. На самом деле название Биг-Бен относится к главному колоколу, весом 13 с лишним тонн, на котором написано на латыни DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM: «Боже, сохрани в безопасности нашу королеву Викторию Первую». В июне 2012 года башня, которая прежде называлась просто Часовой, была переименована в Елизаветинскую в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II.

29

Британская вещательная корпорация (по-английски BBC), самая крупная и престижная теле– и радиосеть Великобритании, которая финансируется исключительно специальным налогом на телевизор.

30

От public house, буквально «публичный дом», но следует иметь в виду, что название английского заведения, о котором вы подумали, дорогой читатель, звучит совершенно иначе.

31

Пиво делится по способу брожения на эль и лагер.

32

To crawl – ползти; в данном случае так называется времяпрепровождение, смысл которого «ползти» от паба к пабу.

33

Обычно я сам вожу, но в Англии с её левосторонним движением не рискую. Всё время тянет не туда.

34

Спросил он, конечно, не так. Спросил он: “What’s your pleasure, sir?”, что следует перевести буквально как «Каково ваше удовольствие, сэр?», да уж больно коряво это звучит по-русски.

35

Fair play – дословно «честная игра». В качестве иллюстрации можно привести такой пример: человек забил гол и был в офсайде, но арбитр этого не заметил и сам игрок обращает на это его внимание. Или мяч от ракетки теннисиста вышел за пределы корта, но судья не заметил этого и сам игрок обращает на это его внимание. Впрочем, ныне электронный «глаз» взял на себя эту функцию…

36

Жёсткая верхняя губа – это про англичан. Они сами придумали этот образ, который предписывает англичанину внешне не проявлять никаких эмоций, особенно расстройство или горе. Не проливать слёзы – никогда и ни при каких обстоятельствах. Никто не должен догадываться о том, что у тебя, англичанина, творится в душе.

37

Мать Уинстона Черчилля была американкой, отец Агаты Кристи – американцем.

Foreign Office – МИД Великобритании.

39

«Добро пожаловать в Объединенное Королевство, мистер Познер!»

40

Два слова – «миграция» и «слежка» – объединены в одно, получается что-то вроде «МиграСлежка», что звучит не по-русски. Лучше «МиграСлужба».

41

Буквально «Эта Англия». Слова взяты из пьесы Шекспира «Ричард II», в которой Джон Гонт произносит совершенно потрясающую, полную любви, но и горечи, речь об Англии.

42

«Свеж, как чайник чая».

43

Буквально «деньги говорят», выражение, подчеркивающее силу денег.

44

«Деньги не говорят, деньги кричат».

45

В 1066 году нормандцы под предводительством Вильгельма Завоевателя разбили саксов, в дальнейшем в результате слияния нормандцев и саксов возник английский народ.

46

М. А. Суслов – советский партийный и государственный деятель, возглавлявший Отдел пропаганды ЦК КПСС.

47

Назвать панк музыкой можно только с большой натяжкой. Главное в нём не музыка, а совершенно бешеная энергия, вопль, желание шокировать. Это был вопль ПРОТИВ, против всего.

48

Saville Row – улица в лондонском районе Мейфэр, на которой более двух веков тому назад обосновались те, кого считают лучшими мужскими портными в мире. Для сведения: на Сэвил-Роу заказывали себе костюмы члены царской семьи и многие представители русского дворянства.

49

Dandy – мужчина, уделяющий огромное внимание своей внешности, одежде, манере говорить и даже ходить, франт. На Джермайн-стрит в Лондоне стоит памятник Бо Браммеллу, воплощению денди.